

1988 № 8(20)
АВГУСТ

РОДІННИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА

ПОЕЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ И СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ЛАТВИИ, Г. РИГА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор),
ЭДГАРС БАНС,
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь).
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС,
ПАВЕЛ ВИШНЕВСКИЙ,
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела),
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС,
РОСТИСЛАВ ЗУБКОВ,
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора),
СТАНИСЛАВА МАРСОНЕ,
МИЕРВАЛДИС МОЗЕРС,
МАРИС ОГА,
ЯНИС ПЕТЕРС,
ЯНИС РОКПЕЛНИС,
БАЙБА СТАШАНЕ,
АДОЛЬФ ШАПИРО.

РЕДАКТОРЫ:

РУДИТЕ КАЛПИНЯ,
АНДРЕЙ ЛЕВКИН,
ОЛЕГ МИХАЛЕВИЧ,
НОРМУНДС НАУМАНИС,
ЭВА РУБЕНЕ,
ТАТЬЯНА ФАСТ.

ПЕРЕВОДЧИК

ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

КОРРЕКТОР

ОЛЕГ КРУГЛИКОВ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ.

ЛИТЕРАТУРА

- Рудите Калпиня. «Солдат свободы» (1)
Юрис Хэлдс. Стихи (3)
Визма Белшевица. «Из-за дурехи Паулины» (4)
Сергей Морейно. Стихи (8)
Карлис Скалбе. Стихи (9)
Алексей Шельвах. Стихи (12)
Райнер Мария Рильке. Стихи (13)
Лариса Ванеева. «Призрак одного таллинца, или гибель Одессы» (18)
Алексей Ивлев. Стихи (23)
Владимир Шинкарев. «Митьки» (26)

КУЛЬТУРА

- Илан Полоцк. «Легенда о Паулюке» (32)
Памяти жертв сталинизма (38, 39)
«Наш плакат» (40, 41)
Разговор Андрея Ковалева с художником Арсеном Савадовым о «Клеопатре» (42)
Вячеслав Давыдов.
«О чем звонит колокол» (44)
Артем Троицкий. «Rock in the USSR» (48)

ПУБЛИЦИСТИКА

- Янис Мелленс. «Где ты, козел отпущения?» (52)
Рута Вейдемане. «Наследство, или «... его усы в нашем супе ...» (54)
Оярс Бушс. «Реальное двуязычие» (57)
Висвалдис Ламс.
«Роковой тридцать девятый» (64)
Олег Михалевич.
«Время работать порядочно» (66)
Вилнис Зариньш.
«Философия грабителей» (68)
Арнолдс Клотиньш. «Правовой статус республики и вопросы развития культуры» (70)

ЛИТЕРАТУРА

- Айварс Озолиньш. Рассказы (74)
Леонид Добычин. «Город Эн» (75)

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.



ЛИТЕРАТУРА

РУДИТЕ КАЛПИНЯ

СОЛДАТ СВОБОДЫ

РАССКАЗ

Когда ему было около пятнадцати, он принялся гадать, почему оказался, а точнее, родился именно в этом мире. В детстве он верил, что существует множество других, более уютных миров, потом в страхе перед смертью успокаивал себя тем, что человек живет несколько раз, и в часы размышлений пытался вспомнить какую-либо из своих предыдущих жизней или вообразить будущую, но с годами мечты приходили все реже.

Тогда он учился в школе и интересовался всем, чем положено интересоваться пятнадцатилетнему подростку. Музыка, девочки, прыщики на лице — так познается мир. Он избегал ровесников, гомон которых его то пугал, то притягивал, и все противоречия отрочества переживал в себе. Солнечным днем, сидя на лавочке во дворе, небо над которым — четырехугольник, ограниченный высокими стенами домов, он впервые встретился с бесконечно болезненным ощущением. Он не сразу принял эту шемящую боль, потому что задумал немало совершить, верил, что его агрессивность, энергия и ненависть имеют какой-то смысл. Он не сознавал, как незначительны его силенки и как потом самому же будет стыдно за собственную наивность.

В мечтах он жаждал видеть сочную зеленую траву, слушать кузнечиков или наслаждаться совершенной тишиной, смотреть на женщин в чепчиках и крестьянских безрукавках, вмешиваться в рыночную суматоху, есть деревянной ложкой и еще чтобы день был длиннее.

Пока ему не исполнилось двадцать, он лишь одиноко удивлялся и униженно отдавался во власть происходящего. Он вглядывался в свою воображаемую независимую жизнь и пытался понять и оправдать свое появление на этом свете. Это было посерьезнее, чем вопросы, которыми мучались другие, — то, как он задумал устроить свою жизнь. Размышляя и рассуждая в одиночестве, он утирал слезы бессилия. Почему так много людей обречены на такую, как у него, гнетущую жизнь? Он долго пытался нащупать ответ, спрашивать себя ещё и ещё, пока не устал. Его охватил ужас при мысли, что так придется прожить свою единственную жизнь, и возникло сомнение — а по плечу ли ему это нести? Это был трагический и неукротимый ужас, который охватывает человека только в ранней молодости, когда еще ощущаешь свое глобальное родство с судьбами неизвестных и невзгодами всего мира, когда совершенно личные и эгоистические разочарования или боль переживаний еще не выводили на большую дорогу отчаяния и безнадежности. Минутами кто-то в нем бунтовал, заводился — за что мне это? Он становился сварлив и по-детски капризен. Стоит ли являться на свет лишь ради того, чтобы выдержать, бороться, тащить на себе воз?

Он боялся стать похожим на тех, кого видел вокруг. Их гены — в зазубринах, разрозненные, — тонут в крови, и кровь взывает о расплате, но самую ничтожную непорядочность они принимают с бессильным смирением. Их так мало, что каждому кажется важным сохранить свое физическое существование. Это было вроде оправдания их инстинктивной жажды жизни и доступных мирских радостей, которыми можно наслаждаться, ничем не жертвуя ради этого. Были вещи, события, слова, которые могли вознести их на волне пафоса, но эта волна высоко взметалась и низко опадала. Кое-что и для них было свято. Иногда он чувствовал, что заблуждается, но надоевшие будни подтверждали правильность его рассуждений.

Он сделал парочку простых выводов:

Чего стоит идея, которую никогда не осуществить?

Чего стоит идея, которую так легко изуродовать?

Одиночество раздражало его, вечные попытки что-то нашарить на грани между «можно» и «нельзя» — тоже. Он не верил, что он такой один, но всеми вокруг правил опыт прежних лет, и он, как те, кого он не нашел, не хотел однажды попросту исчезнуть.

Тот, кого прославляли и чье имя призывали так же часто, как когда-то божье имя, лежал у ног людей и каждый, кому не лень, мог его разглядывать. И не осталось поэтому, куда протянуть руки и откуда ждать доброты и жалости. Это была довольно большая нелепость — чтобы общество, скромное в своих желаниях и ленивое в их осуществлении, общество, в фундамент которого были вмурованы пороки человечества, ненависть и зависть, — так приблизилось к краху.

Всюду было одно и то же. Он предавался размышлениям уже из последних сил отчаявшегося человека. Он с облегчением решил:

Что я могу изменить? Ничего и никогда. Я стал старым в тот миг, когда понял, что не могу ни на что повлиять.

Он логически доказал себе, что, если он действительно исключение, так потому, что смотрит на все со стороны и может оценить происходящее безотносительно к себе. Он чего-то ждал, метался, осмеливался робко надеяться и сам иступленно издевался над этой надеждой, жил так день за днем и тупо предавался всему, что происходило, пока не сник в растерянности. Он перестал думать о других и бесплодно размышлять о мире, в который был водворен на жительство. Он уже никого не винил, только чувствовал, что понапрасну тратит жизнь. Он даже не пытался освободиться от осознания своего мучительного незнания и терзающей душу бессмысленности.

Иногда воскресным утром он приходил в знакомый двор



КОЛЛАЖ РИТЫ ЛАЙМЫ КРИВИНИ

и почти что без помех предавался тем чувствам, с которыми никого не знакомил. Первые восемнадцать лет своей жизни он провел в громоздком доме, стоявшем в самом центре города. Когда-то дом свидетельствовал о достатке своих обитателей, но вот уже много лет задыхался от дыхания несчастливых людей, тлел от жара коммунальных склок и понемногу разрушался — со своими крашеными паркетными полами, фанерными дверьми и тонкими перегородками, пересекавшими бывшие залы и гостиные и долженствующими укрывать любящих, разделять разнополых и выделять изолированный угол для приезжих.

Склад мясного магазина, куда можно было попасть со двора, по воскресеньям был закрыт, и он мог лишь в воспоминаниях созерцать картины конца семидесятых у дверей склада.

Он смотрел на небесный четырехугольник, не ведая, что годы спустя встретит людей, которые расскажут ему про небесный шестиугольник над площадкой для прогулок в доме напротив, и он будет переживать, что не почувствовал их присутствия там, по ту сторону шумной улицы, потому что окажется, что они одновременно смотрели в одно и то же весеннее небо. Они перестрадали то же, что и он, но уже будучи наказанными. Он думал о чужом доме, служившем всем властям, который уже давно должен был бы рухнуть от людских страданий, от стонов, которыми пропитался каждый кирпич, от крови и смерти. О замкнутом мире, которого он так боялся, в котором уже ничто не имело значения, в котором зеленоватые, замшелые от влаги и бессилия стены покачиваются от слабости, едва удерживая свое вымученное существование.

Он не за тем лишь приходил сюда, чтобы оплакивать ушедшее время и осторожно, балансируя на грани боли, прикоснуться к давним переживаниям. Двор не хранил ни его первых поцелуев, ни грусти прощаний, они были разбросаны по лестничным площадкам, где он расставался с девушками. Ощувив тяжесть и радость возвращения, он чувствовал, что вырывается из назначенного ему времени и

отпущенных ему чувств. И ясно осознавал, что никогда уже не станет таким, каким хотел бы быть.

Его жизнь проходила в бесконечной созерцательной тоске, знакомой многим. И он мрачно чертыхался, браня свою жизнь, но всегда находил, за что зацепиться, чтобы остаться. Он при всем желании не мог никого пожелать и не хотел никого обречь на жизнь в таком мире. Он думал о том, чего многие, подобно ему, никогда не изведают и не узнают. В скромной жизни они жадно хватались за любую иллюзию, сами смеясь над своей наивностью и все же надеясь. Он был одним из них.

Пылающие, угрожающе полупустые улицы, жаркий и душный полдень, раскаленный воздух. В немом единении тысячи ожиданий в криках смельчаков. Он, обессилев, сидел в ближайшем парке и приезирал себя за то, что боится оказаться среди тех обреченных, кого держит под замком триумф кровожадной расплаты. Дрожа от стыда, он успокаивал себя, что он ведь вместе с надеждами и стремлениями тысяч людей, но слишком хорошо знает, что не доживет до их осуществления.

Он редко ходил по нервным улицам бессмысленно переполненного города и избегал людей. Он скрывался. Становился все безразличнее к своей внешности. Ему понравилось шагать ровно и четко, закладывая руки за спину. Лицо было оцепенелым, хотя хранило следы давних эмоций. Он работал на конвейере, пользовался репутацией чудака и молчуна, иногда встречался с неким юным существом — это его освежало. Даже богатство, которое когда-то казалось ему единственным выходом, с течением времени стало ему безразлично.

Он знал, что мало на свете дорог, принадлежащих свободе, и что не ему их найти, потому что он не видел себя в том полку рядовых, что готовы своими телами устелить путь, ведущий к свободе.

перевела ДАЛИЯ ТРУСКИНОВСКАЯ

ЮРИС ХЕЛДС

МОНОЛОГ Н

себе я иногда твержу
женщина ты — остров
моя малютка Элен
как видишь я часто
не сплю
и сон не идет
в этом сумрачном Инвалиде
странные острова созерцает
окно после смерти:
будто тяжко раненное зверье
в беспамьятстве подплывают они
все ближе и ближе
можно уже дотянуться рукой
осталось лишь только столетье
острова
которые с племенем женским
соединяет чертополох
разве не я был
баловнем смерти
разве было не так
малютка моя Элен

Поторопись, поторопись,
великий Зевс,
Еще Европу снова
можешь ты похитить,
Еще спасти ты можешь
(обреченную быть может),
За голубем смиренным
цепь железная снует.
Все дороги в Рим открыты,
не будет скоро пищи для богов,
Поторопись, поторопись,
великий Зевс, —
Пока Европа еще
не умершая картина,
пока соприкасается с ней
Мастера длань.

я со страницы белой прихожу
добрый вечер ворон брат
добрый вечер Quo Vadis
еще не знаю я
в глубинах где-то тлеет слово
чуме ей не понять
вечер добрый ворон брат
вечер добрый Quo Vadis
да
встретились когда-то в средневековых идах
а может быть позавчера
да
со страницы белой прихожу я
и путь мой слово предопределяет
то слово
что одновременно ссылка и моя свобода
как уголь нетленный
слово то

как обеднели
нету ни гроша
из денег состраданья
Памяти
все продано
и ей мы лгали
как обеднели
нету ни гроша
чем выкупим
себя
когда судить нас будут
без суда
те
для кого
лишь крапива цветет

Человек умирает долго —
долго готовит он свой уход,
долго во тьме убывает насущный хлеб.

Человек умирает долго —
долго он белую сеет соль
на побеги суетно черные,
долго он голода розы срывает
для маски посмертной достойной цветов.

Человек умирает долго —
долго Ключи будет ждать госпожа . . .
ведь осколки этих небес одного его достоянье.

Когда рука твоя надвременная скрипка
(со струнами гиеромантии),
скрипка, услышав которую
на ладони моей замирает тающий конь
(аллюр зимней слезы).
Когда рука твоя надвременная скрипка —
мгла, голубями сотканная — — —
суть Вечного Дерзновения.
Когда рука твоя скрипка над временами,
над всем, что в пределах моих задыхается.

Паук золотой хронику солнца пишет
Рыбы уносят серебряной ночи глубины
И когда небо затмения пучины приносит
Бог тихонько молитву к людям возносит.

НЕВЕСТА КАТОРЖНИКА

(из цикла «Очей венек,
кружащий вокруг Земли».)

серые мои
в осени вечные
мглу созерцающие
неисчезающие
в снежном покрове
будто смеющиеся
сквозь слезы
и кандалы
лишь бы вернуться
лишь бы выдержать
мои серые
в осени вечные
в сумерках лет
неизбежные

ВИЗМА БЕЛШЕВИЦА



ФОТО ЮРИСА КРИЕВИНЬША

В латышской прозе, с самого ее зарождения, ощущимо сильное и полнокровное лирическое начало — с тщательной нюансировкой изображаемых ощущений и переживаний, эстетически значимыми описаниями природы, с глубокой интимностью чувств и личностным отношением к окружающей жизни. Традиция эта укоренилась настолько прочно, что лиризм почти стал рассматриваться как одно из основных качеств латышской прозы. Высказывалась даже мысль, что он просто следует из особенностей латышского характера — ведь не случайно же основной составляющей нашего фольклора являются уникальные четверостишия народных песен — которых более двух миллионов.

И тем более удивляют на этом фоне рассказы Визмы Белшевицы. Широко известная, высоко чтимая, любимая читателями поэтесса почти демонстративно отказывается в своей прозе от малейшего намека на лиризм. Витальные, вросшие всем своим существом в каждодневный быт героини этой прозы, да и само отношение к ним автора исключает любой разговор об умилении или поэтизировании, напротив — отношение автора к этим старым, излишне подчас склонным к капризам и фокусам женщинам характеризуется иной раз достаточно ядовито-ехидным замечанием, а в основном же — окрашено на удивление здоровым юмором.

В полной мере это проявляется и в рассказе «Из-за этой дурехи Паулины». Просто поражает, насколько рельефно изображены эти две женщины с их уникальными характерами и накопленным за долгую жизнь опытом. Насколько широкая и богатая картина жизни открывается в небольшом объеме рассказа. Повествование Визмы Белшевицы очень лаконичное, максимально сконцентрированное, емкое, точное в каждой детали, уклоняющееся от каких бы то ни было лирических или рефлектирующих вставок и побочных линий.

Эти сконцентрированность, насыщенность, точность каждого эпизода и образа, где в немногих словах раскрывается психологическая наполненность ситуации, в прозу Визмы Белшевицы перешли, наверное, из ее поэтиче-

ского опыта. Ведь лирика не только свободное и эмоционально напряженное самовыражение — определенностью своей формы лирика заставляет автора реализоваться максимально лаконично, отказываясь от всего лишнего. Здесь вспоминается язык пушкинской прозы — язык как бы объективизированный, даже бесстрастный, зато очень точный и насыщенный.

Иногда Визма Белшевица использует давно отработанные, подчас, казалось бы, даже банальные приемы (например, рассказ «Белая жена», исполненный в жанре «рассказа с привидением»), но делается это не ради того, чтобы раздражить утонченного читателя — писательница возвращается к этим старым, начальным формам и доказывает, что те вовсе не стали окаменелостями, но способны обрести под пером художника новую жизнь на неожиданном для них современном материале.

Особенно любит латышский читатель сам язык прозы Визмы Белшевицы (не всегда, к сожалению, воссоздаваемый в переводах). И повторимся — связано это не с изысканностью эпитетов, не с экстравагантностью необычных ассоциаций или бьющей через край чувственностью — когда язык словно бы сам радуется своей красоте и непохожести. В прозу Визмы Белшевицы из ее поэзии вошло богатство понятийной эмоциональности содержания, когда слово раскрывает все, что в нем скрыто. Не случайно ведь писательница с такими радостью и наслаждением штудирует вместительные хранилища латышского языка — многотомные словари Мюлленбаха и Эндзелиня, которые «сияют жемчужинами нашего фольклора, литературы, говоров. Читай и овладеешь всем: художественным вкусом, знаниями, вдохновением (многие мои стихи произросли из этого словаря), мыслями... Потому что, понимаете, родной язык — самая большая, самая горячая моя любовь».

Если собрать под одной обложкой все рассказы и новеллы Визмы Белшевицы, то получится совсем небольшой томик. Но ведь ценность книги определяется не ее весом...

ХАРИЙС ХИРШС

ВИЗМА БЕЛШЕВИЦА



ФОТО ЮРИСА КРИВИНЬША

ИЗ-ЗА ДУРЕХИ ПАУЛИНЫ

РАССКАЗ

На глаза людям теперь не показаться. Только и слышишь — шу... шу... шу... вон те самые старухи, что получили срок за хулиганство... несчастный человек... тяжелые телесные повреждения... инвалид на всю жизнь... в тюрьму таких, так нет, условно дали... нет справедливости на этом свете... Давеча иду мимо окна Клубуров, слышу, маленький Пецис распищался, а мать ему и говорит: — Кричи, кричи! Вот придут те старухи, тогда узнаешь! — У мальчишки рот и захлопнулся. Раньше, когда мы с Паулиной в хорошую погоду выходили во двор посидеть под кустом сирени, дети так и вились около нас, конфетку кланчили или приставали, чтобы Паулина рассказала про «почин-половинку-остаточек» или про пасхальную ярмарку с каруселями на том углу, где нынче новая школа. А теперь — хоронятся играть за сарайчик, а то выбегут на лестницу, увидят нас — и деру, обратно в комнату. А на окнах во двор то одна гардина шевельнется, другая. Подглядывают. Да и на улице — под локоть друг друга толк, кхе-кхе, головы повернут и опять: шу... шу... шу...

А дуреха Паулина знай смеется: — Пусть глядят на здоровье! Им хорошо, да и нам приятно: на молодых не глядели, так хоть теперь кто-то поглядит. Не картинки, чай, были, не залюбуешься! — Ишь, нашлась! Не картинки! Про себя пусть говорит. А я была. Мне гсть что на старости лет вспомнить. А у Паулины только и был тот шеголь, что выманил ее с горем пополам накопленные гроши, а сам исчез, пропал, как иголка в сене. И полиция следов не нашла. Осталась Паулина в вековухах. После, что ни зарабатывает, все на тряпки спускала. Франтила напропалую. Не было такого дня получить, чтобы не пришла домой с пакетом. И не евши, не пивши, не вымывши рук — вытаскивать обнову. Тесемку — ножом и в комок, бумагу — в ключья. Когда в хозяйстве-то что тесемка, что бумага — всегда пригодятся, и я никогда ничего не бросаю — хоть как долго провожусь, а развяжу и сверну так, что любо-дорого, бумагу ладонью разглажу и приберу к месту, чтобы добро не пропадало. Эта — нет. Тут же новую блузку или что уж она там принесла — на себя и к зеркалу — спереди, сзади, с од-

ного боку, с другого, исподлобья поглядит, голову назад откинет. Часами. Уж я ей говорила: — Что ты вертишься перед зеркалом? Кто тебя тут видит? Повертись там, где парни гуляют, может кто и клюнет. А она: — Ты думаешь? Не всем же гоняться за мужчинами, как некоторые! — Некоторые, подумать только! Пойти навстречу еще не значит гоняться. А не пойдешь, не покажешься, так кто узнает, что ты вообще есть на свете? Сквозь стены-то не увидят, как ты тут перед зеркалом франтишь. Да что говорить!

Дурехой была Паулина, дурехой и осталась, и только из-за ее дурости да франтовства мы попали на скамью подсудимых. И еще за ее зазнайство. За вечное: — Ты думаешь? — Хоть там я не знаю что, она только вскинет голову на манер королевы: — Ты думаешь? — да еще с таким презрением. Даже когда я по утрам ее будила, а будить приходилось постоянно, потому что Паулина спала хоть из пушки пали, — так и тут, я трясу ее: — Вставай! Пора на работу! — а она сядет в кровати, голову откинет побороднее: — Ты думаешь? — До того в привычку вошло, что если и сама чудом проснется, то все равно тут же, усевшись, брякнет: — Ты думаешь? — хотя никто ничего и не думал и не говорил.

Ну, да уж какой ты ни на есть, таким тебе и век коротать. Паулина, хоть и дуреха, а мне все одно сестра, другие родичи во сырой земле. Да и нам пора уже подумать о костлявой.

Думать о ней мы начали пять лет назад. У Паулины одно на уме: про смертное платье! Какое у кого будет, из какой материи. Шелка, атласа или бархата! Я ей вот что: — Ни на какой шелк, атлас или бархат нам из своей пенсии не накопить. — Она только голову откинула: — Ты думаешь? — Другие, мол, старухи как-то крутятся, то белых грибов наберут, то на бруснике разживутся. А мы что? Ровно какие графини, на одной пенсии сидеть будем? Совсем неплохо и нам свежим воздухом подышать. Мол, кроме дохода, хорошо и для цвета лица. Уж я с ней спорила, мне, говорю, все равно, какого цвета у меня морщины, но разве Паулину переговоришь? Жужжала надо мной, как осенняя муха, пока я не согласилась. И вот однажды поднялись мы еще затемно, корзины в руки, и — айда в лимбажские леса. Как на грех, и пора была грибная,

и место хорошее нашли, и заработали на славу. Теперь уж Паулину дома не удержать, хоть веревкой вяжи. Да и мне покою не давала. Боровики еще ничего, а вот брусника пошла! Что за наказание, господи! В спине — прострел, руки все отянуло! А еще вечером мажешь пчелиным ядом, не только наша комната, но и вся лестница и коридоры провоняли, что твоя богадельня. Унялась Паулина, лишь когда началась клюква: далеко больно от Риги, за день никак не обернешься. Ведь клюкву теперь только те и собирают, у кого машины, куда уж нам, старухам. Да и так уже целую кучу денег заработали, осталось только решить, какую покупать материю и где портнику найти, об ателье Паулина и слышать не хотела.

А потом пошел базар, пока рассудили, какую купить материю! Я хотела черное шелковое платье с белым воротником и манжетами — как порядочному покойнику приличествует. Паулина уперлась — нет и нет! Мол, черное платье с белой фатой вида не имеет, мне, мол, нужно светло-серое, а то и совсем белое.

— Ах, белое? — говорю. — А на голову еще веночек, да? Из твоей свадебной мирты? — Мирту, вишь, Паулина посадила еще в девичестве, и уже в ту пору, как появился этот ее шеголь, мирта была такая пышная, что Паулина с ног до головы могла бы украсить ею, если б он не смьялся. А теперь — что и говорить: мирта все окно застила и в том углу комнаты всегда зеленоватые потемки. Паулина зашипела от негодования, а потом отрезала, что на похороны тоже нужна веточка мирты, и не позаботься она, где бы взяли?

Недели две мы препирались, но Паулина была бы не Паулина, не навяжи она мне свое серое. А какое она сама будет шить, про то не скажет — принесет из магазина, тогда и увижу. Мне материю тоже она купит, мол, у нее лучше вкус. Тут уж я не уступила. Вкус у нее, как же! Позолоченные часы поверх рукава надевает, вот ее вкус! Пошла сама покупать, но как бы не так: она по всей Риге за мной таскалась и за рукав дергала: — Эту не покупай! Ту не бери! А на эту и глядеть нечего, складки совсем не будут падать! — Какое там, к богу, падать, когда на спине лежишь? Из гроба, что ли? Но убедил-ка Паулину. Дуреха.

Наконец материя мне на смертное платье была куплена. Такой приятный серый кримплен. Зато для себя Паулина рыскала до самой новогодней ночи — меня с собой не звала, да я бы и не пошла. А когда принесла и опять по своей дурной моде веревочку скомкала, а бумагу порвала в клочья, я думала, что прямо умру. Лиловая! Ярко-лиловая с золотыми и серебряными цветами. Парча. Я остолбенела. — Дуреха! — кричу. А Паулина — подбородок кверху: — Ты думаешь?

Тут я высказала все, что думаю. О старой уродине, у которой три подкрученных волоска на голове, руки — как жерди, но зато на платье — золотые цветы. И как это все будет выглядеть.

Паулина опять свое: — Ты думаешь? А сколько у тебя самой волосинок, если у меня три? Четыре, что ли? Купим парики. Белые с завивкой. А на руки — белые перчатки.

Парики! Когда после этих кримпленов да парчи хорошо если на портнику осталось. Но Паулине рот не закрошь. Разве же, говорит, мы этой зимой помрем? А следующим летом опять поедем по грибы и заработаем.

Не померли. Но когда после грибов брусника пошла, то, по мне, лучше бы зимой померли. Опять все сначала — ломота в костях, пчелиный яд и сердечные капли. На парики, однако, заработали, хоть и дороже они оказались, чем мы думали. Зато уж и красивые. Я свой примерила, поглядела, подходит ли, убедилась, что хорошо, и положила на смертную полку, поверх длинного серого платья. Но Паулина — каждый божий день — платье натянёт, парик водрузит и ну перед зеркалом вертеться — спереди и сзади, с одного боку, с другого, исподлобья поглядит и назад откинется. Цветы на лиловом так и переливаются серебром и золотом. Разве можно было ее уговорить, что так она еще до похорон весь наряд истреплет? — Ты думаешь? — И весь разговор.

Когда после еще одного лета с боровиками и брусникой появились у нас и перчатки, и длинные шелковые нижние юбки, и тюлевая фата и бог знает что еще, Паулина объявила: в такой гроб, что делают в конторе на улице Революция, она, хоть убей, не ляжет. Надо, говорит, найти частника и заблаговременно заказать. Комната у нас, хоть и одна на двоих, большая, что гараж у пожарников, можно, говорит, спокойно поставить гробы в угол, пусть они там дожидаются своего часа.

Больше с Паулиной не спорила, особенно, когда оказалось, что я в этом сером платье, белых перчатках да парике и впрямь выгляжу, как баронесса, а то и почище. Гробы обошлись нам еще в два лета белых грибов и брусники. Мне — светлый, из лакированного ясеня. Паулине — обшитый белым шелком и с рюшем по краям. Мол, если у нее свадьбы не было, так пусть хоть на похороны белый шелк будет.

Делаали гробы в нашей комнате — у мастера не было другого места. Уж соседи и так, и этот подкапывались: кто там у вас стучит, что тешет. Мы сказали, что ремонт. Ремонт, и весь разговор.

Когда гробы были готовы, покрыли пленкой и одеялами, чтоб не пылились и чтоб, если кто зайдет, не напугался. Люди нервные нынче.

Ну, раз все готово, можно бы успокоиться. Так бы каждый считал, но не Паулина. А еще пишут, что перлетуум-мобиле нельзя изобрести. Чушь. Чем Паулина не перлетуум и не мобиле в одной персоне? Откуда что берется: кожа да кости; посмотришь — в чем душа держится, а она крутится, как белка в колесе, только и покою, что ночью. Да и то мечется по кровати, подскочит: — Ты думаешь? — не то, что в молодости, когда спала хоть из пушки пали. А утром, не успев глаза продрать, сразу к комоду и давай свою смертную одежду перебирать, парик на голову напяливать. Я говорю — запачкаешь, ну, так оно и случилось. Крутилась как-то раз перед зеркалом во всем великолепии и, как водится, все назад отступала, пока не наткнулась на стол, где у меня тарелка с тертыми яблоками. Опрокинула себе на задницу. И мой труд, и лиловая парча — все пропало. Яблочное пятно с золотых и серебряных цветов разве выведешь? Где там! Тут уж Паулина взвела. И ревели до тех пор, пока не спохватилась, что на этом пятне она все равно лежать будет и никто не увидит.

С неделю после этого был мир да лад. Только поглядывала на комод да тяжело вздыхала. Выдвинет ящик, опять задвинет. Даже похудела, хотя казалось, больше некуда. И стала говорить, что все хлопоты были напрасны, мол, ей от похорон никакой радости, если не сможешь посмотреть на себя в гробу. Как будто хоть один покойник когда-нибудь себя в гробу видел! Дуреха, да и только. Я ей так и сказала. А Паулина — опять свое: — Ты думаешь? Подожди же, дай срок, что-нибудь сообразу.

И надумала. Поставим гроб на стол, она, мол, оденется и ляжет, а я ее фатой накрою и украшу миртой, зажгу свечи, а потом позову фотографа, чтобы сделал снимок. Фотограф, мол, свидетельства о смерти не спросит. Карточку, говорит, увеличим и — пожалуй-ста: любуйся своим похоронным великолепием сколько душе угодно. Потом, говорит, так же сделаем и с тобой, только фотографа она позовет из другой мастерской. И опять, как водится, меня уговорила.

В один прекрасный весенний день пришлось мне отправляться в мастерскую за фотографом. Нашла такого солидного господина — мягкого и круглого, как священник, с проседью в волосах. Молодой-то разве сумеет хороший снимок сделать — так я думала, и он сказал то же самое. Не волнуйтесь, говорит, карточка дорогой покойницы будет что надо, на довоенной бумаге. Приду, говорит, после работы, в семь часов. Я оставила солидному господину адрес и пошла на базар за голубыми подснежниками. Паулина сказала, что на фате должно быть восемь букетиков, меж веточками мирты. И еще свечи надо было купить.

Пока я, притомившись, домой дошла, Паулина уже свой белый гроб из-под пленки на середину комнаты выволокла. И теперь все за поясицу хваталась да приставывала. А ведь на середину выволочь — это еще что. Вот на стол водрузить, вдвоем, да с нашими-то силенками! Соседей-то не позовешь глядеть на такой театр. Я уж и фотографу постеснялась сказать, что покойница еще вовсе и не покойница. Побоялась, что засмеет, хоть и солидный такой господин, в приличных годах и с понятием.

В два приема пробовали поднять и снова на место ставили. На третий раз Паулина свой конец выпустила, так что только затрещало. Звук такой прямо, как будто что-то сломалось. Ощупывали мы этот край, ощупывали, — под белым рюшем ведь все равно ничего не видно, — да так и не поняли, развалился или нет. Паулина на всякий случай всплакнула. Я сказала — не плачь, у покойника глаза не должны быть красными. А она свое: — Ты думаешь? — но высморкалась все же и успокоилась. За это я ей приготовила водички с сахаром. Тогда мы отдохнули полчаса и на четвертый раз все же как-то водрузили. Вообще-то гроб красивый, только тот край, что грохнулся об пол, как-то не смотрелся. Хорошо еще, что сама Паулина была виновата, а то бы мне и в мышиной норе не спрятаться от ее стонов.

Два часа Паулина прихорашивалась, вертелась перед зеркалом, ложилась в гроб, опять вставала, да и в гроб я должна была ей подавать зеркало. То одно не так, то другое, наконец решила, что губы тоже надо напудрить белыми, а то не похоже на покойника. Не поторопи я, застал бы ее фотограф перед зеркалом. И правда, только я успела Паулину фатой накрыть и приколоть к ней мирту с подснежниками, как он явился. Свечи зажгла, пока он возился со своими лампами и подставками. А возился он, надо сказать, долго. Такую фотографию сделать — шуточное ли дело.

При всей моей старости слух у меня, как у мыши. И вот слышу я, — пока солидный господин, болтая между делом, все прилаживается да принаравливается, с какого места лучше снимать, — моя Паулина начинает тоненько так носом посвистывать. Заснула! Но свист еще бы ладно, стала я громче говорить и солидного господина тоже прошу погромче: мол, плоховато слышу. А у самой ноги холодеют — а ну как Паулина вздумает во сне ворочаться

или еще что. Лишь на то и надеялась, что от нашего разговору потихоньку проснется.

Господин, надо сказать, хоть и солидный, но коротышка, стол высокий, и белый гроб Паулины — что стеклянная гора — никак не сфотографируешь, куда-нибудь не взобраться. Господин и на табуретку вставал, и на стул — нет, не получается. Наконец я дотумкала: ведь сосед свою лесенку в коридоре держит! И пошла за ней, из хитрости разговаривая и топоча ногами, чтоб господин повстан не слышал.

Установили мы в ногах у Паулины лесенку, рядом с ней стул, чтобы мне залезть и держать лампу. И получился наконец, как сказал господин фотограф, нужный ракурс. Только вот лесенка так трещала и качалась, что у него от дрожи в ногах брюки шуршали. Однако господин ничего, держался бодро, лампу велел то так поднять, то эдак, пока наконец не воскликнул громко: — Вот, так хорошо!

И тут-то наша покойница как сядет рывком, как крикнет: — Ты думаешь? — Так сурово да презрительно, как одна Паулина со сна умеет.

Солидный господин лишь вскрипел коротко, нога — мимо ступеньки — и загрел вместе со всем устройством на пол. Да еще, как на горе, не зараз. Сначала щекой об угол стола, так что кровь брызнула, затем своим нежным аппаратом о подсвечник, который тоже повалился ему на голову.

Я — в крик, Паулина — в крик, карабкаясь из гроба. Фотограф — на полу, на щеке кровь, нога в лесенке застряла, глаза закатываются. Паулина кинулась за нашатырным спиртом — хорошо, я все на место кладу, искать не пришлось — и пробку господину под нос. Господин застонал, глаза приоткрылись было, да как увидел Паулину в золотых цветах и под фатой, которая, когда она из гроба вылезала, прицепилась за парчу и тянулась следом, — вскрипел опять и меж веками только белые щелочки. — Ты, дура, не маячь хоть перед ним! — зашипела я, и один раз в жизни Паулина обомшлась без своего «Ты думаешь?». Отошла в угол к своей мирте и сипела потихоньку, как курица на молнию. И мне пришлось одной управляться — знать бы еще, с чего начинать.

Первым делом привела господина в чувство, потом давай ему ноги из лестницы тащить, да где там, боже мой, как притронусь, господин — орать дурным голосом и ругаться, да так солоно, как я еще в жизни не слышала. Зови, мол, скорую помощь, нога на тысячу кусков переломана. Так оно и было видно, — не могла же несломанная так замысловато изогнуться в той проклятой лесенке. И милицию, говорит, тоже зови по горячим следам, он нам, старым ведьмам, покажет, как людей калечить. И чем больше он кричал, тем сильнее кровь из пораненной щеки. Я хотела хоть кровь-то унять, а он — нет, пускай, мол, милиция увидит и скорая помощь, что с ним натворили.

На этот неслыханный скандал, не званы не прошены, прибежали соседи, те самые, чья лесенка была в коридоре. Сам прикусил зубами кончик уса, сама выпучилась, как жена Лота на горящий Содом, — да уж и было, на что посмотреть. Если не на гроб и свечи да на солидного господина, окровавленного и застрявшего в лестнице, то на Паулину в ее лиловом с золотом под фатой. Вот уж теперь она была один раз картинкой.

Господин углядел, что подошли двое, и давай кричать еще истощнее. Тогда я сказала соседу, чтобы шел к Клабурам, где был единственный телефон во всем доме, и звонил бы уж в скорую помощь и милицию. Что оставалось делать.

Милиция прискакала первая. И давай допрашивать, протокол писать — хоть в землю провалились, на глазах у всех соседней. Потому что не только эти не ушли, но еще и Клабуры поднялись и еще какие-то, с которыми мы толком и не здоровались. Паулина краснела, как пион, у меня слезы текли от стыда и досады, но рассказывать пришлось все. А когда приехала скорая помощь, — опять сначала. И смотреть, как милиционеры кусают губы, чтобы не засмеяться. Врач тоже кусал губы, а санитары, молодые ребята, так и прыскали, нет, чтобы хоть чуточку сдержаться, невдомек. К добру такое озорство не могло привести, да и не привело.

Пока врач под истошные крики господина вытаскивал из лестницы его ногу да накладывал гипс, чтобы по дороге не моталась, и щеку приводил в порядок, эти двое, ровно жеребцы, глянут на Паулину, потом на меня, потом — друг на друга, — да так и закупают от смеха, так и затрясутся. А когда нужно было господина поднять на носилки, то у них из-за этой тряски дело шло несколько не лучше, чем у нас с Паулиной, когда мы гроб на стол втаскивали.

Доктор ругался, господин орал, эти несли, и носилки прыгали и тряслись, как нынешняя молодежь в этих модных танцах. Так они выпихнулись за дверь и затрусили по лестнице вниз.

Я с ними не пошла, с меня и так сраму и расстройству по горло. Да все равно слышно было, как они, ногами шаркая, прыская, волокутся вниз. А тут вдруг прысканье опять перешло в ржанье, затем последовал мощный грохот и такой крик, какого еще в этот вечер не слышали. Кричали кто во что горазд, а голос господина — надо всем, как ирехонская труба в судный день. Ведь они, шалопаи, встряхнули его из носилок, и, хотите верьте, хотите нет, господин сломал еще и руку!

Подал он в суд на нас, верно, еще лежа в больнице, потому что, когда через полтора месяца вышел, то меня с Паулиной сразу вызвали. И опять пришлось рассказывать все сначала, хоть помирай со стыда, опять все кусали губы, и сам судья только воздух в себя втягивал, будто глотнул кипящего молока, один лишь господин да мы с Паулиной не смеялись. Потому что не только нога и рука у него сломаны, но еще и сотрясение мозга, и разбит его нежный аппарат. Господин настаивал, что это мы с Паулиной злонамеренно так сделали, потому что, когда он, на лесенке стоя, сказал: — Вот, так хорошо, — Паулина закричала: — Ты думаешь? — Нечаянно так никто не просыпается.

Я, конечно, говорила и говорю, что Паулина всю жизнь так просыпается, но суд поверил не нам, а господину. И присудил нам за злонамеренное хулиганство пять лет, условно.

Пять лет! У меня в глазах потемнело, ни словечка я бы сказать не могла, но Паулина, дуреха, уже стала откидывать голову, и я ее дернула за рукав, чтоб не крикнула еще судье: — Ты думаешь? — Но нет, Паулина спросила, будут ли ее хоронить в казенной одежде или в своей, если умрет в тюрьме. Даже на скамье подсудимых только у ней и беспокойства было, что об этом лиловом с золотом да о белом гробе. Судья, воздух в себя втянув, придушенным таким голосом объяснил, что в тюрьму идти совсем не придется, только в наших бумагах запишут, что были под судом.

Тогда мы с Паулиной стали плакать, а другие — улыбаться, и только наш потерпевший господин шипел и ворчал про несправедливость себе под нос, потому что перед судом на рожон не полез.

Так мы, честно прожившие всю жизнь, — казалось, и страшного суда особо бояться нечего, — из-за дурехи Паулины были осуждены еще здесь, на этом свете. К своей досаде, а людям на смех.

Вернее сказать — к моей досаде. Паулине людские насмешки — что божья роса. Чем больше на нас пялятся, тем благороднее она откидывает голову и еще меня пальцем в бок, — мол, видала? И парик теперь таскает каждый день, в своих волосах и платочке на улицу не покажется. Вот и будет к смертному часу таким же редким, как собственный пух. Но мне надоело говорить, пускай делает, как хочет, только и сказала, что ради нее за брусничкой больше не поеду. Моя смертная одежда и парик дожидаются своего часа, новехонькие, мне ехать незачем.

— Ну и не надо, — говорит Паулина. — И не езди. Хорошо. До сих пор все хорошо. Но на прошлой неделе — иду я из магазина, окно открыто, моя Паулина в белом парике сидит на подоконнике, а рядом — желтое пластмассовое ведерко, что нам сосед подарил на женский день. Я думаю, купил для собственной жены, да ей не понравилось: еще бы — такой обкромсанный уродец, что в него и войдет, — неужто иначе подарил бы? Да, так вот, это ведерко возле Паулины, полное воды.

— Что, теперь уж в парике окна мыть станешь? — я спрашиваю. А она мне: — Ты думаешь? — Ничего, говорит, подобного, окна мыть не буду. А если, говорит, это ведро воды кому-нибудь на голову опрокинуть, то сочтут хулиганством?

Что тебе от хулиганства опять понадобилось? — я ее спрашиваю. — Под судом давно не была?

А она мне: — Больно приятный да обходительный был господин судья. Охота еще как-нибудь увидеть. — Глаза выкатила и глядит поверх сарайчика, будто ждет, что приятный господин судья спустится с неба. И улыбается скорбно-слащаво, что твоя невеста.

Видали? Дрожь берет, как подумаешь, до чего мы еще можем докатиться из-за этой дурехи Паулины.

Перевела ИРИНА ЦЫГАЛЬСКАЯ

А что остаётся — лишь самая малость
Листвы и травы. Остаётся усталость
Деревьев, державших до нужного срока
Тяжёлые ветви. Грибная мороза
Да яблочный запах ушедшего лета...
Останется радость случайного света
Свечи и звезды. И в глазах твоих жалость
Светила и грела. И тоже осталась.
А что это было — я имя теряю,
Названья не помню и вправду не знаю
На трёх языках подходящего слова,
Лишь имя твоё, только имя — и снова...
А ты исчезаешь, а ты исчезаешь,
Названья не помнишь и слова не знаешь,
И снова проходишь, как ветер и птица,
И некому верить, что всё повторится...
И кто мне ответит, за что мне досталось
Всё то, что исчезло, и то, что осталось,
Глаза твои, имя, и птица, и ветер,
И кто мне ответит, и кто мне ответит?

НЕМЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ

Развиднелось. Дворы зацвели голубями.
На последние деньги зима
Напоила парным молоком с отрубями
Мертвецов и уснула сама.
Я уже не чужой в этом городе странном.
Только жаль, что январь налегке
Безмяннным пришёл и уйдёт безмяннным
В почерневшем от слёз пиджаке.

Мне другая поёт нищета...

Арс. Тарковский

Не пугай меня смертью и чёрным постом.
Отыщи мне фиалку под белым кустом.

Я и сам бы нашёл, да видать, не судьба —
Нынче даже могила не правит горба.

Не летает сова над потухшим костром,
Одноногий журавль не скрипит над ведром.

И к боярским столам подобрался плебей —
Заводила московской шпаны воробей.

Я последний, кто видел с резного крыльца
Чёрной ласточки щёлк — два конца, два кольца.

Что бы стало со мной без родного лица?
И куда бы я шёл — без конца, без конца?..

Вот, наконец, в Москве выпадает снег.
Белая грязь на пороге сухой зимы.
Вот и приходится заново брать разбег —
Всё на пороге и, стало быть, даже мы.

Выпадет за ночь снег и за день сойдёт.
И подозреньями я до сих пор грешу.
Только бы чуять, куда эта нить ведёт —
Я не хочу случайностей и не прошу.

СЕРГЕЙ МОРЕЙНО

1938 ГОД

1

Только взгляд, обращённый назад,
в глубину запотевшего сада,
и застывший в саду листопад,
и синица в дыму листопада.

И пахучая чёрная дверь,
открывавшая руки и плечи.
Чьим аршином Россию не мерь,
ошибёшься на шест от скворечни.

Я гармонию втайне ловлю
и порою над вымыслом плачу...
Но спрягается слово «люблю»
лишь наотмашь, навзрыд, наудачу.

Словно пара бездомных птиц,
Мы живём между двух столиц.
Среди грустных и нежных лиц
От твоих до моих границ.

Под сухой перещёлк монет
Ожидаем почтовых бед.
Чёрный клавиш нажмёшь — в ответ
Восемь «да» и четыре «нет».

Спят соборы, во сне звоня.
День проходит, тебя отняв.
И затягивает меня
В горловину вчерашнего дня.

Ты дала мне свою страну,
И пятак ускользнул ко дну,
И уже, как судьбу и вину,
Я её никогда не верну.

Снег, как скрипучие проклятья,
Горит и тает под ногой.
И для него все люди братья
В России, скрученной дугой.

В одном конце — земля и воля,
В другом — скуластые поля,
А посредине чья-то доля
И снова — воля и земля.

И ниоткуда не вернётся
К нам эта сладкая печаль,
И горьким эхом обернётся
Бог-Нахтигаль, Бог-Нахтигаль.

Ты жизнь отжил и больше не был,
А люди ластятся и пьют.
Прими привет, немое небо,
Сухому слову дай приют.

2

Платок и плащ. Ещё — перчатки.
В кармане мелочь прозвенит.
И сонных улиц отпечатки
Лицо прекрасное хранит.

Я жизнь отжил и больше не был,
А люди ластятся и пьют.
Прими привет, немое небо,
Сухому слову дай приют.

Мне угол твой не будет тесен —
Всего лишь место, чтобы лечь.
Найти ключи подземных песен
И в горле скрыть живую течь.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

1

Парикмахерская на бульваре —
Вы когда-нибудь в ней бывали?

Приходите сегодня к двум.
Замечательный мастер Блюм

Между взмахами бритвы спросит:
«Как вам нравится эта осень?»

Этот ветер, пардон, со свистом
Вдоль прудов, по-московски «чистых»,

Где среди восхищённых дам
Проходил молодой Мандельштам?»

2

Они — как выстрел пули,
Глоток зелёный: «Здрассь-те!»
И в них навек уснули
И радости, и страсти.

И отпечатком чётким
Ложились на сетчатке
Афиши и решётки,
Вуали и перчатки.



Карлис Скалбе (1879—1945)

«Дыхание травы», «Мелодии тишины» — названия двух последних сборников Карлиса Скалбе. Названия не метафорические или манерные, не претендуют на символичность, но отвечают ярко индивидуальному восприятию мира поэтом: дышит не человек и даже не цветок, а трава; спокойствие травы и покой природы наполнены музыкой — звучащей, человеку необходимо лишь слушать и слышать...

Человеку двадцатого века — противоречивому, внутренне дисгармоничному, живущему в усложненном и торопливом мире, поэзия К. Скалбе может показаться отголоском какого-то иного столетия, ирреальностью — редко встречаемы, даже в европейской литературе, поэтические личности, главными приметами которых являются неиссякаемые сердечность и нежность. В одном из ранних стихотворений К. Скалбе писал: «Все мудрые слова / мне давно наскучили / лишь сердце / лишь сердце и солнце мне близки» (подстрочник). Если для нас возвращение в «утраченный рай» — к природе и щедрости сердца кратковременны и редки, то К. Скалбе доказал, что и среди хаоса 20 века, с его внутренней нестабильностью, возможно оставаться духовно богатым и цельным, и не искать иных ценностей, кроме обычных, вечных и насущных привязанностей: красоты природы, сердечной доброты.

К. Скалбе — человек земной. Его интересует не яркое и громадное, но обыденное, конкретное и неприметное, казалось бы, проявления жизни поэт одушевляет, придает им блеск и «насыщает солнцем» — по словам З. Маурини. По ее мнению, «В мире Скалбе наиповседневнейшие вещи делают поэтическими, даже березовый листок на мшистой лесной тропке может вызвать эстетическое переживание. Цветочная легкость и тихое свечение присущи мировосприятию поэта». Все, о чем пишет К. Скалбе, излучает приветливость и любовь. Землю, деревья и — самое характерное — траву К. Скалбе обращает в живые существа, и тогда он пишет: «Эта старая добрая земля к тебе дружелюбна», «то это пришедшее из глубины веков древнелатышское, характерное для латышского фольклора... изначальное сознание, что наделена душой всякая — живая и неживая — природа» (Р. Эгле). Душу природы К. Скалбе усматривает в жизненных принципах человека, он уверен в том, что природа всегда подскажет самое

правильное, самое важное. Зеленая трава, например, для К. Скалбе не только доставляет чувственное либо эстетическое переживание, но порождает жизненную философию: траве присуща вечная сила роста. З. Мауриня обоснованно замечает, что «Скалбе — король трав и деревьев, и, в то же время, — их поклонник. Земля одаряет героев Скалбе покоем, добросердием и ароматом свежей травы». В отличие от многих романтиков, К. Скалбе не интересуется ирреальное и неуловимое, ему чужд романтический максимализм и ощущение трагизма жизни — все, необходимое человеку, он находит здесь же, на Земле. В мире Скалбе ветер колышет ветви деревьев, зреет урожай и родственны солнечное тепло и сердечная щедрость человека. Свой путь герой Скалбе проходит ведомый мудростью сердца. Его девиз: «Зачем множить печали, лучше множить радость».

Жизнь К. Скалбе определялась следованием своей индивидуальности, своему сердечному чувству, а вовсе не выработанной однажды жизненной программой. Уже в ранней молодости, К. Скалбе, работая перегонщиком скота на рижские рынки, лежит — подобно гамсуновскому «Путешественнику, который тихо играет на кокле» — ночью под небом и, глядя на звезды, как бы сливается с природой в неделимом единстве. Не случайно его сборник стихотворений 1904 года называется «Когда цветет яблоня». Но неверно считать К. Скалбе лишь «природным лириком». Свою жажду свободного дыхания в 1905 году, восторженность Пятого года, воодушевление и веру в победу социальной и, особенно, национальной справедливости К. Скалбе оплачивает годами странствий в Финляндии, где скрывается от ищеек самодержавия. В то время его талант находит свое выражение и в сказках. Трудно даже сказать, где он сделал больше для латышской литературы — в жанре сказки или в поэзии. Европе, а также и русскому читателю гораздо более известны сказки К. Скалбе. Не кажутся преувеличенными те оценки, в которых его сказки сравниваются (как по художественным достоинствам, так и по гуманизму) со сказками Г. Х. Андерсена и О. Уайльда. Но, как обычно, трагедия численно небольшого народа состоит в том, что даже самые яркие его таланты не всегда будут поняты, станут близкими для других, так как характерные черты национальной ментальности не всегда возможно (даже в лучших переводах) сделать близкими и понятными читателям другого народа. Так, например, из-за ярко выраженного национального мироощущения до сих пор не поняты полностью украинец Т. Шевченко и ирландец У. Б. Йейтс. Так же, как трудно передать в переводах свежесть и естественность русской речи С. Есенина, так и К. Скалбе, с его латышской ментальностью, основанной на фольклоре, перенявший его мироощущение, трудно приблизить к другим народам. Тихие, душевные созвучия К. Скалбе, его сросшенность с природой, его теплая живописность (не метафоризация) и тонкая элегичность никогда не будут воссозданы полностью в переводах. И нюансы поэзии и сказок К. Скалбе можно воспринять лишь читая его произведения на языке оригинала.

Русскому читателю К. Скалбе важно знать, что в свое время он писал А. Чехову, М. Горькому, Л. Толстому письма с просьбами выслать ему — из-за стесненного материального положения — их книги. Русская классика (в поэзии — Кольцов, Некрасов) была особенно близка К. Скалбе, в начале века он переводил стихи этих поэтов на латышский.

Жизнь К. Скалбе завершилась в апреле 1945 года, не дома — в Швеции, куда он, подобно многим латышским интеллигентам, выехал, утраченный сталинскими произволом и нарушениями законности, а так же и под влиянием фашистской пропаганды. Трижды за послевоенное время в Советской Латвии выходили обширные сборники его избранных сказок, столько же раз — стихотворные сборники. На 90-е годы планируется выпустить Полное собрание сочинений К. Скалбе в 8-и томах.

КАРЛИС СКАЛБЕ

ВЕЧЕРОМ

По небу, в закате багряном,
Сверкающий всадник летит.
Иду с шалуном-мальчуганом, —
Отец его часто бранит.

Далекое облако блещет.
Бессильно, как птичка в силке,
Рука мальчугана трепещет
В моей огрубелой руке.

Он шепчет сквозь слезы: «Где всадник?
Зачем ускакал он от нас?
Что стояло в наш палисадник
Заехать под вечер хоть раз?»

«Ах, мальчик мой, садик твой — чахлый,
А в доме — и сумрак, и сон.
Отец твой — ворчливый и дряхлый:
Чем встретил бы рыцаря он?»

Нет, рыцарь к сияющим странам
От наших несется болот,
Тоскою по солнцу румяном
Волнуя угрюмый народ!»

1905

Перевел ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

ВРЕМЯ

Время, как синие воды,
Вечным проходит путем.
Сердце твое разорвется —
Разве кто вспомнит о нем?

Кто этот мальчик, — скажите, —
Что лежит недвижим?
Волны блистающей ночи
Плещутся тихо над ним.

Света нет в его взоре,
Ил скользит по плечам.
Кто этот мальчик? — скажите.
Ах, да ведь это ж я сам!

Время, как синие воды,
Вечным проходит путем.
Сердце твое разорвется —
Разве кто вспомнит о нем?

1911

Перевел ЛЕОНИД ЧЕРЕВИЧНИК

ЛЕСНАЯ КОРЧМА

В тени прохладных елей
Я на корчму набрел:
Из темной меди кружки,
И старый жернов — стол.

Хозяин рыжебородый —
Как побагровевший бор...
Меня, как старого гостя,
Он потчует с давних пор.

Приходит девушка с пастбищ,
Садится под окном...
У ног моих пес ложится, —
И я забываю свой дом.

1912

Перевел СЕРГЕЙ ШЕРВИНСКИЙ

ЛЕСНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

Колокольчики лесные,
Что безмолвно в чаще грезят, —
Почему бледны их лики?
Потому что очень редко
Открывается им небо,
И тогда они печальный,
Бледный свет его вбирают.

Колокольчики лесные,
Что безмолвно в чаще грезят...
Но кому нужны такие?
На дрова сгодятся сосны,
А от них — какая прибыль?
Заяц их не ест, у зайца
Есть на то своя капуста,
И медведь их равнодушно
Топчет, и ползет улитка
Мимо них к грибам мясистым

Колокольчики лесные,
Что безмолвно в чащах грезят,
Ловят отблеск звезд далеких
И лучи их превращают
В язычки; тогда повсюду
Тихий-тихий звон их слышен.

Этот звон — кому он нужен?
Нужен он лесной опушке,
Пастуху, что в полдень грезит,
Голову ко мху склоняя.

1912

Перевел ЛЕОНИД ЧЕРЕВИЧНИК

С ГОРЫ

Где над черным лесом
Море нависает,
Там, за этим лесом,
Парус выплывает.

Где дымится солнца
Золотая тень, —
В пламени заката
Рушится мой день.

Ах, душе бы руки,
Я бы их тогда
Над пустынным миром
Протянул туда,

Где за черным лесом,
Когда день сгорает,
В голубую гору
Парус уплывает.

1913

Перевел ЛЕОНИД ЧЕРЕВИЧНИК

БАРКА С СЕНОМ

Тихо колышется, мглой окруженная,
Барка тяжелая, сеном груженная.
Кануло лето в омут без дна,
Черная бьется о бревна волна.
Родственник солнца — гребец молодой
Барку проводит мертвой водой.
Над берегами полночь застыла,
Мокнут в реке ледяные светила.
Юноша сел, опираясь на стог,
Смотрит с тоскою в звездный поток.
Сохлые травы, руки ломая,
Шепчут ему о радостях мая.
Душные ночи, волны тепла,
Полдня медовые колокола.
Все ликовало и пело на воле —
Листья и мошки, былиночки в поле...
Тихо колышется, мглой окруженная,
Барка тяжелая, сеном груженная.

1914

Перевел ФЕЛИКС СКУДРА

ВОЛНЫ ДАУГАВЫ

Качайте меня, Даугавы волны,
На самых черных моих печалях,
Словно в бездонной, темной пучине.
Прямо идет путем своим судно.
Ветры, застыньте, пучины, замрите,
Волны, из тьмы глубин поднимайтесь!
Что, корабли, кричите в тумане,
Что вздыхаете страшно и тяжело?
Или вас на себе не качают
Легкие, вольные Даугавы волны?
Или это голосом вашим
Стонет темное сердце пучины?
Ах, что я вижу в голубоватой
Мгле глубин из лодки скользящей:
Отрок лежит на дне, погребенный,
Волны тихо его качают,
Вьются кудри его золотые,
Ликом бел он и сердцем невинен.
Сам ли не был я отроком этим,
Волны весной унесли не меня ли?
Не говори мне, пучина, о муках,
Тех, что ты для меня сохраняешь.
Тих и тесен твой сумрачный терем,
Ключ по волнам, звеня, уплывает.
Качайте меня, Даугавы волны,
На самых черных моих печалях.
Скоро зима наступит, застынут
Воды, белым покроются пухом
Реки, земля, цепenea от страха,
Станет белой, заиндевет.
Явятся мне вечерние зори,
На небесах — города золотые.
В грезах тогда уйду я далеко,
По золотым ступаю дорогам,
Но мое сердце — в синей пучине.

1916

В ОТЦОВСКОМ ДОМЕ

В отцовском доме как-то снова
Провел я ночь и, погруженный в дрему,
Как в мягкий мох безмолвия сплошного,
Я близок к солнцу был какому-то иному.
Вдруг трижды постучали — не ко мне ли?
Я приподнялся, сон прошел мгновенно.
Но — никого, вокруг моей постели
Была лишь тьма и нежный запах сена.

Тут — вновь я слышу — трижды постучали.
Отец умерший — может он? . . . Во тьму
Я вглядывался. Кто-то там, печальный,
Стоял. Я руки протянул к нему —

Меж нами ночь была, стена из звезд и мрака.
Я до утра не спал и тихо плакал.

1922

Этой подборкой стихов К. Скалбе мы продолжаем публикацию антологии латышской поэзии конца XIX—первой половины XX века в русских переводах 1910-х—1980-х годов. Читатель уже познакомился с творчеством Э. Вейденбаума, Я. Райниса, Р. Блауманиса, Аспазии, Я. Порукса, В. Плудониса. В последующих номерах журнала будут опубликованы произведения Ф. Барды, А. Курция, П. Розитиса и других латышских поэтов.

ПИР

Был праздник в городе,
Пир званный во дворце.
А птичка зернышко
Нашла на улице.

Я шел на званный пир, —
Остался с птичкой
И тихой радостью
С ней вместе радовался.

1925

СЛОВА

От слов, что сказаны вчера,
Лишь горечь остается.
Пустая вся эта игра, —
Зачем она ведется?

Пусть спор кипит вокруг меня,
Пусть не смолкает схватка —
Сижу, молчанье храня,
Молчанье — так сладко.

1926

ДЫХАНИЕ ТРАВ

Так нежно трав дыханье,
Так ласковы ветра.
Меня здесь кто-то любит,
Желает мне добра.

И мгла мне щеки гладит,
Как будто говорит:
«Земля твоя седая
К тебе благоволит».

1930

МОЯ ЛОДКА

Из дня в другой безмолвно лодка мчится
Под звездными мостами, через тьму,
И солнце то взлетает, то садится
И тонет . . . Но, скажите, — почему
Нас вечно вниз несет, — что это значит,
И лодочник, — зачем лицо он прячет?

1931

Перевел ЛЕОНИД ЧЕРЕВИЧНИК

АЛЕКСЕЙ ШЕЛЬВАХ

ВETERАНЫ

Только варвары павших своих забывают,
а у нас и младенец скорбит с колыбели.
Только варвары водку водой запивают,
если пьют за Отчизну и мирные цели.

Приготовил папирус! вторую пехотную роту
помяну поименно в течение мудрой беседы.
Десять лет я ходил в рукопашную, как на работу.
В деревянном коне задохнулся за час до победы.

А живем хорошо. На хорошее слеп ты!
Все одеты, обуты. И — чем не жилище?
В месяц раз получаем почетные лепты.
Почему так ехидно спросил ты о пище?

Ты меня огорчил. Нет, прощай. Да, прощай в самом деле, —
неспроста и соседи ворчат через перегородку.
Впрочем, в нашем дворе из асфальта растут асфодели.
Мы их жарим потом и едим под холодную водку.

ПАМЯТИ РАФАЛА ВОЯЧЕКА

Нашу дневную бессонницу в стане слепых,
наше позорное бегство на сивых кобылах,

наше отечество без пророчеств, — все в прошлом, —
наше четырежды и — никуда — перекрестков,

наше ничто человеческое, — желчь желаний,
ни — биография, ни — просто — био,

наших мэтров с руками умно умытыми,
нашу египетскую немоту — мумии звуков,

мел бумаг — мел предсмертных рубах,
мертвую душу мою без покупателя,

наш век, — наш страх, юного голода одр
только ты понимала, Ирония,

подлая мама.

Окно в капустных кочанах алмазных.
Бумага в очарованном дыму.
В стихотвореньях Фауста отважных
все буквы — некоему никому.
В капустном кочане блестит Луна.
Обрыдло человеческое нечто.
Особенно когда искусство вечно.
Взад и вперед от двери до окна
шагает стихотворная машина.
Волосяное пламя хромосом
вокруг Луны струится колесом.
Ан — не родится ни отца, ни сына.

ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА

Голубым бревном луча
в лоб младенцу бьет Луна!
Он очнулся, трепеща.
Видно, получил сполна.

О Луна, нещадно бей
лоб, невинный лишь на вид!
Сколько [миллион!] скорбей, —
станет старше, — претворит!

Путь прочувствует он лбом,
что замыслил он в мозгу!
Голубым ему бревном
в темя! Или — по виску!

О, трепещет, озарен!
Не забудет и вовек!
Спи,
быть может, вразумлен,
Царь Вселенной, человек.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Небо голубое
Черная сосна.
А над головою
желтая Луна.

В жизни или смерти,
а бывает и
хорошо на свете,
страшные мои.

... я отворил пергаментную калитку
и —
старец стоял под красным воздухом сада;
старец руками размахивал и стрекотала десница;
весело в стеклянную банку летели
черные черепа вчера малиновых маков;

я засмеялся в страхе за этого старца:
«Ты чересчур беспечен, старательный старец.
В необитаемых небесах зарницы зимы!
Атомы мака — пища для поговорок и только.
Кстати, читал Апокалипсис!»

«Нет», — отвечает;

я перевернул страницу и ужаснулся:
самозабвенный под красным воздухом сада
старец сидел за деревянным столом;
носом изучал семена — воистину буквы
через лепешку стекла — воистину книжник;

я засмеялся (устаи, полными слез):
«Эти семена — молитвы! О старец, однако
воздух вздохнет и — пиши пропало молитвы!
Медные насекомые всадники вторгнутся в сад!
Черная раса ворон обрушится с неба!
Старец, читал Апокалипсис!»

«Да», — отвечает,
сыплет в стеклянную банку ракушки, монетки,
луковицы, кукурузные четки;
вдруг отворил я калитку и остолбенел:
старец грабли вздымал и возделывал грядку!
яблоки падали — старец ловил как жонглер!
смехом смеялся!

Эхом я зарыдал:

«Пенсионер, ты очевидно рехнулся!
В пламени александрийская библиотека древес!
О геенна перегноя под нами! О старец-ребенок,
перечитай Апокалипсис!»

«Ох, — отвечает, —
эта наивная первая проба пера моего
столько хлопот причинила. Вот поглядите ...»

Яблоки падали в красном воздухе сада.

ИЗ КНИГИ «СОЧЕЛЬНИК»

Бывают дни: душа моя пуста,
народ ушел. И в тихом Божьем храме
клубится ангел, возводя кругами
благоуханье, чтобы в фимиаме
взошла сияющая нищета.

ИЗ «КНИГИ О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ»

Ты знаешь ли святых Твоих, Господь!
И в тесных кельях, где они трудились,
им слышно было, как томится плоть.
Они ушли и в землю возвратились.

И каждый жег свой свет и выдыхал
свой нищий воздух в избранной могиле.
Кончался возраст. Облик исчезал.
Как дом без окон, эти души жили.
Их смерть прошла и обратилась в прах.
Они читали редко: на листах
всё было так, словно мороз на книги
дохнул, и, как на их костях вериги,
значения повисли на словах.

Они не говорили меж собой
с тех пор, как опустились в подземелье.
Их волосы висели, как хотели.
Никто не знал, живёт еще другой
или скончался.

В большей из пещер,
там, где святой бальзам питал лампы,
они сходились и садились рядом,
перед дверьми, перед блаженным садом
шумели бороды. Как дождь в плюще,
сон шелестел под их бессонным взглядом.

С тех пор как ночь не обрывалась днем,
их жизнь была — несчетное начало.
Да, некая волна над ними встала,
схватила и швырнула в древний дом
утробы. Как зародыши, клубком,
большоголовы, с птичьими руками,
они уже не ели, возникая
в глубоком сне, во чреве вековом.
И вот из городов и деревень
паломники спешат на поклоненье
сюда, где три столетия, как день,
и где они лежат, не зная тленья.
Как свечи, оплывает темнота
и копится у лиц неопалимых,
под пеленами белыми хранимых,
и складки этих рук неразрешимых
лежат, как складки горного хребта.

Ты, Господи святых и вознесенных,
иль Ты забыл для этих погребенных
назначить смерть, когда была она
при жизни ими прожита до дна!
Или себя с умершими равняя,
с бессмертьем смертный будет породнен,
и жизнь останков, страшная, большая,
одна преодолет смерть времен!
И если век их для Тебя хорош,
возьмешь ли Ты сосуд пустой и верный
и знающий о том, что Ты, безмерный,
однажды кровь свою в него вольешь!

ПОБЕГ БЛУДНОГО СЫНА

Итак, бежать. Всё спутанно, врождённо,
всё наше и не нам принадлежит,
всё, как вода в потоке засорённом,
нас криво отражает и дрожит,
и как репейник на пути решенном,
еще уцепится за нас. Бежать.

И увидеть
всё то, что не дает
узнать себя в присутствии поденном, —
сладчайшим увидеть и примиренным,
в начале сердца и вблизи . . . И вот
угадывать: как всё одушевлённо,
какая скорбь сюда идет
из детских дней, где слёзы глубоки . . .

И всё ж бежать. И руку из руки
мы выдернем. Так счастье разбивают.
И прочь. Куда! К неведомому краю,
в края, какие сердцу далеки
и как кулисы, действо закрывают.
Где всё равно: стена, изгиб реки . . . —

и прочь. Зачем! Из сходства, из желанья
сродства, из нетерпенья, выжиданья,
непостижимости, постигнутой тоски. —

и этого лишить себя. С пустою
надеждою — лишить. Чтоб одному
кончатся, не гадая почему . . .

И это выход в бытие иное!

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

И он прошел в темнеющих ветвях,
неразличимый на масляном склоне.
И он сложил всю ношу лба, весь прах
в глубокий прах земной, в свои ладони.

И это всё. И это был конец.
Но как же я уйду теперь, незрячий!
Зачем ты хочешь, чтобы я, Отец,
сказал тебя! ты мной уже утрачен.

Здесь нет тебя. Мой дух, душа моя
тебя не знают. Камень и струя
тебя не знают. Нет. Здесь только я.

Здесь только я и скорбь веков. Я сам
взялся сложить ее к твоим ногам.
Но нет тебя. О безымянный срам.
И скажут: Ангел появлялся там.

Какой же ангел! Это ночь пришла
в масляный сад, глухая и слепая.
Ученики вздыхали, засыпая.
Какой же ангел! это ночь пришла.

И ночь была одна из тех, убогих,
каких мильон уже прошло.
Заснули псы и камни на дорогах.
О скорбная, о многая из многих!
и как она ждала, чтоб рассвело.
К т а к о й молитве ангел не приходит,
ночь не выводит из ночей.
Собой утраченный — уже ничей.
Таким отцы прощенья не находят.
Их оттолкнут утробы матерей.

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ

Так, Им снова нужен этот сон:
знаменья и буквы огневые.
Но хотелось Марфу и Марию
успокоить, показав, что он
может это. Но никто не верил,
— господи, шепча, почто теперь!
в мире есть заказанные двери. —
И он вышел, чтобы эту дверь

разрешить. И, брови напрягая,
он спросил о месте. Он страдал.
И народ решил, что он рыдает.
И бежал за ним, и выжидал.

И лишь на ходу он понял ужас
начатой попытки. Но тогда
некий пламень, поедая душу,
встал и опровергнул навсегда

их несмысленные различенья:
это умереть и это жить.
И враждою стал он в каждом члене.
И сказал он: Камень отложить!

— Он смердит уже, — ему кричали, —
господи, четыре дня! — но в нем
этот знак, сжигающий вначале,
рос — и вот ему с трудом, с трудом
руку поднял.
Медленней и выше
ни одна не совершит подъем. —

совершила. И стоит, как свет.
И сама себя в себя вонзила.
Ибо дрогнул он, что это сила
в с е х умерших вызовет на свет,
всех, кто всосан почвой гробовой,
выведет, от ложа отрывая. —
но восстал о д и н. Изнемогая
видели: неверная, больная,
жизнь опять решалась на него.

ИЗ «СОНЕТОВ К ОРФЕЮ»

II — часть I.

И девочка почти, она вошла
из общей славы голоса и лиры,
и просияла в ткани прихотливой,
и слух мой, как постель разобрала

и спит во мне. И это сон её:
деревья торжества и восхищенья,
луг осязаемый, дали ощущенья
и всё, чем сердце тронута мое,

и спит о мире. Боже, научи,
как ты свершил её, не пробуждая! —
и спит и возникая восстает.

Где смерть её! куда мотив ведет!
куда исчезнет песня, поглощая
себя во мне! о девочка почти . . .

IX — часть I.

Тот только, кто пронесёт
лиру в загробье,
тот, угадав, возведёт
славу над скорбью.

Кто с мертвецами вкусит
мака забвенья —
гибнущий звук возвратит
в вечное пенье.

Пусть отраженье с водой
вновь унесется —
о б р а з п о с т р о й:

только из бездны двойной
голос вернется
кротко живой.

XVII — часть II.

Сердце, сады воспоем и садов недоступные входы!
В ясном и твердом сосуде их вылепил свет.
Розы Ширази поем, исфаганские воды,
славя сады, для которых подобия нет.

Сердце, тверди, что ты их не теряло, что там
помнят тебя, и гордись налитыми плодами,
словно ты там, словно там, между живыми ветвями
воздуха облик цветной поднимается к нам.

Не заблуждайся: ничто не грозит нищетою.
Нет нищеты для того, кто решается б ы т ь.
Шелковой нитью войди в полотно золотое.

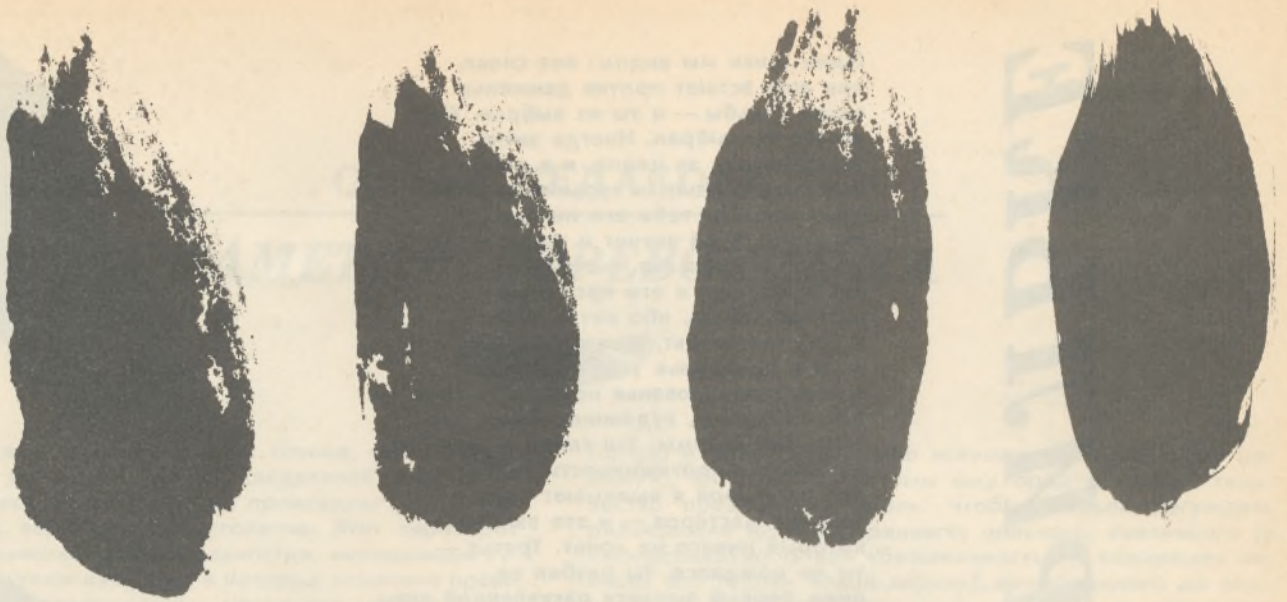
Сердце, с каким бы из обликов или с каким из мучений
ты в глубине не сплеталось, как с нитями нить,
памятно целое. Ясен ковер восхвалений.

К МУЗЫКЕ

Музыка: статуя дышит. Быть может:
образ покоится.
Ты язык, когда языки
Кончатся. Время,
по вертикали встающее к исчезновению сердца.

Ты чужбина, музыка.
Произрастает из нас
сердца пространство. Глубочайшее наше,
нас превзойдя, вырываясь . . . —
о разлука блаженная.
Будущим окружены,
как сверхопытной далью, изнанкой
воздуха
чистой
гигантской
уже никогда не жилой . . .





РЕКВИЕМ ГРАФУ ВОЛЬФУ ФОН КАЛЬКРОЙТУ

Или я знал тебя! перед тобой так сердце ноет, как перед началом оттянутым. И как же я начну тебя, мертвец! ты, мертвый по любви, ты, страстно мертвый. Что же, это так излечивает, как ты думал, или УЖЕ-НЕ-ЖИТЬ — еще не УМЕРЕТЬ! Ты полагал перенести владенья туда, где их не ценят. Ты решил, что будешь там, а это как пейзаж, и здесь он на холсте и впереди и только цель — а там-то, изнутри, ты все пройдешь, как сильное дыханье. О, только бы обманом пострашней не обернулась детская ошибка. О, только бы, подхваченный тоской, ее теченьем — полусознавая — ее движеньем к дальнему созвездию — ты радость отыскал, какую ты отсюда перенес в свое загробье. Как близко, милый, был ты к ней, как здесь. Как здешнему она была к лицу — строгая радость крепнущей тоски. Когда, проверив счастье и несчастье, ты сам в себя ушел, как рудокопы, и выкарабкался на свет, разбитый своей находкой темной — вот тогда ты нес ее, ты нес и не узнал, надел земли твоей обетованной ты нес в крови, и шел, и обгонял.

Но вот чего не ждал ты: этот груз невыносим, и превзойдет себя, и только так преобразится в правду. И может быть уже, ближайший миг кончался этим: у твоих дверей стоял с венцом — и ты захлопнул дверь.

О этот шаг, как вздрагивает мир, когда под острым ветром нетерпенья щеколда ударяет о затвор! Кто поклянется, что его земля не переймет — и не разрушит семя. Кто нас уверит, что в ручных зверях не вспыхивает похоть людоеда, когда им этот гром ударит в мозг. Кто проследит последствия поступка в ближайшем дереве — и кто за ним пойдет туда, где все ведет ко всем.

Как ты разрушил. Как вовек, вовек, ничем другим тебя уже не вспомнят. И явится герой, и ветхий смысл, который мы считали ликом вещи, сорвет, как маску: яростные лица объявятся. Но их глаза давно следили в искажающую прорезь: вот это лик отныне и навек: как ты разрушил. Подвозили плиты, и музыки строительных лесов уже не сдерживал счастливый воздух, когда ты шел — и ты не понял строя: одно другое заслоняло. Всё, казалось, корень запускало в землю, когда не веруя, но домогаясь, ты пробовал поднять — и поднял всё — в отчаянье. Но лишь затем, чтоб тут же обрушить это всё в каменоломню, куда оно, расширившись, как сердце, уже не умещалось. Если б здесь какая-нибудь женщина вошла и улыбнулась; если б кто-нибудь, кто глубочайше, внутреннейше занят, тихо взглянул, когда ты молча шел куда решился; если б на пути стояла кузница, как на часах: рабочие куют и день идет в осуществленья; если б, наконец, в твоих зрачках еще нашлось пространство, и в нем, измучась, уместился жук — тогда бы при внезапном озаренье ты надпись прочитал: какие буквы ты медленно вырезывал в себе и складывал в слова, и строил фразу, и ах, она бессмысленной казалась. Я знаю, знаю: вот ты лег и стал прощупывать насечки, как надгробье на кладбище. Вот ты зажёл, что мог, что было под рукой — и как свечу поднес к строкам — и тут огонь потух скорей, чем нужно: может быть, дыханье, быть может, это дрогнула рука, а может, сам, как с пламенем бывает. Ты не прочел. Но как же мы прочтем сквозь эти слезы и на расстоянье.

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

Одни стихи мы видим: вот слова, они еще встают против движения твоей судьбы — и ты их выбрал. Нет, не все ты выбрал. Иногда зачин ты принимал за целое, и в целом был только долг, и горький для тебя. Уж лучше бы тебе его не знать. Но Ангел твой звучит и произносит те же звучанья, но иначе — и какой восторг в его произношенье, восторг тобою, ибо вот — твоё: и всё, что любят, от тебя отпало; и ты в прозренье угадал отказ; и совершенствованье понял в смерти. Вот что твоим, художник, было, три открытых формы. Так гляди же, выход из первой: протяженность ощущения. Вот из второй я вынимаю: зренье великих мастеров — и это взгляд, который ничего не хочет. Третья — ты не дождался, ты разбил ее, лишь первый выплеск раскаленной лавы ударил в сердце, третья — это смерть отличной выработки: глубоко устроенная, с о б с т в е н н а я смерть. Мы так нужны ей, так ее живем и ближе к ней не будем, чем теперь.

Вот всё твоё добро и окружение. Ты так и знал. Но дупла этих форм тебя пугали. В их зиянья руку ты опустил и вынул: пусто — и себя оплакал. — Бедствие поэтов! они себя оплачут, где должны себя сказать, они изложат чувства там, где их должно выстроить, они пойдут судить, что весело, что грустно, что можно бы перевести стихами, воспеть или оплакать. Как больные, они слова находят побольней, чтоб указать, где больно. Между тем их дело — преобразоваться в слово. Так каменщик переложил себя в большое равнодушие собора.

И ты бы спасся. Если бы хоть раз ты видел, как судьба твоя уходит в твои слова — и не вернется, как она — картина, предок на портрете: он в раме, и когда посмотришь вверх, он то похож, то снова непохож — и ты бы спасся.

Впрочем, это мелко — судить о неслучившемся. И если здесь есть укор, прости, он не тебе. Есть в происшедшем важный перевес: оно опередило нас. И как догнать его, чтобы взглянуть в лицо.

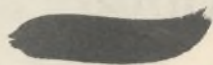
Так не смущайся перед мертвецами, перед другими, теми, кто терпел до самого конца (но где конец!). Взгляни в глаза им, как велит обычай, и не пугайся, что от наших слез ты искажен и не похож на них. Великие слова других времен, других событий, я в н и х, — не для нас. Что за победа! Выдержать — и всё.

Реквием написан через два года после смерти В. ф. К., 19-летнего самоубийцы, поэта и переводчика Верлена и Бодлера.

Переводы ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ

ОЛЬГА СЕДАКОВА

ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА



Р. М. Рильке — австрийский, но, точнее, европейский поэт* — один из самых чутких свидетелей огромного внутреннего переворота, который происходит в европейской культуре, вероятно, уже столетие. Этот переворот называли «кризисом индивидуальности», «крушением гуманизма» и другими именами, в которых отмечена прежде всего утрата традиционных ценностей человеческой жизни — в том числе, девальвация языка искусства. Темы опустошения, глубокого неблагополучия, исчезновения смысла и самой реальности из существования — популярнейшие темы художников XX века, варьированные в самых разных тонах, от катастрофического ужаса до потустороннего равнодушия, — возникли, конечно, не в большой фантазии творческих людей. Мы действительно стали участниками какого-то великого прощания с вещами, без которых, как думали веками, самая жизнь невозможна. Но оказалось, что жить можно и после того, во что вылился этот внутренний кризис, после надругательства над человеком, каких история не видывала. Вопрос в том, что значит после этого служенье муз, какое искусство остается необходимым в «посткатастрофическую эпоху», во «время масс» и т. п.

Рильке отвечает на этот вопрос не только книгами стихов, сложными ансамблями, в которые трансформированы древние формы мифического или средневекового христианского эпоса, формы Книги о Мире, но и теоретическими обоснованиями принципов «нового искусства» в эссе и письмах. К своему столетию (1975 г.) Рильке оказался все тем же актуальнейшим и оспариваемым автором. Главная проблема Рильке — проблема художника, но это значит — проблема человека (поскольку Поэт в его системе — это человек *par excellence*) проблема художественной вещи, но это значит — проблема вещного мира вообще и его отношения со смыслом («вещи искусства» по Рильке не только не слепок или теперь «реальной вещи», она превосходит ее своей крепостью: *Stark ist dein Leben, doch dein Lied ist starker*); проблема языка и «говорения», способности слова достигнуть бесконечной потенциальности молчания, но это значит — проблема связи с высшей реальностью (имена Бог, Ангел, Смерть, Задание, Жизнь и другие — это как бы закрома или соты, которые всем своим творчеством наполняет Рильке, исходя исключительно из собственного, *eigene* — важнейшее рильковское слово — опыта, не обращая ни к одному из «готовых» догматических смыслов). В каждой из этих проблем Рильке чувствует себя на новой земле; великие образцы, к которым он обращается («слушай, как слушали святые» или «как борец из Ветхого Завета»), не должны вводить в заблуждение: там, в «киных временах», как и везде, Рильке находит не решение, но задание. И, в отличие от многих, наступающее время Рильке видит не в перспективе очевидных утрат, но в перспективе еще невиданных обретений: в юности он сравнил свое время с эпохой «Новой Жизни» Данте. Новый поворот, в отличие от дантовского (Рильке имеет в виду почти исключительно поворот искусства: его социальная и политическая позиция состояла в отстранении от актуальной политики), направлен в сторону внутреннего (*das*

Innige) и целостного («ибо искусство есть тоска по целому»); внешним и частным ему представлялось творчество предыдущей эпохи. Чтобы всерьез обсуждать рильковские идеи внутреннего, цельного, внеличного (а имперсональность или «безымянность» — важнейшая позиция его теории новой лирики), воплощенного до вещи искусства, требуется иной жанр, чем такие заметки. Мне приходится только называть их, чтобы напомнить, что великая поэзия сталкивается — прибегая к образу Рильке — с великим соперником: с человеческой немотой по поводу самых насущных и потому всегда противящихся схватыванию тем его существования. Этого вглядывания в предмет «крайней заинтересованности человека» (словами философа П. Тиллиха) никогда не могла простить Рильке социально ориентированная критика. Что значит, скажем, среди кричащих и неотложных вопросов общества его поэтическое учение о «здешнем»?** Не бестактно ли воспевать францисканскую бедность перед лицом реальной нищеты в современном мире? К чему, наконец, обязывает «эстетическая религия» Рильке, его «эстетическое отшельничество»? «Есть вечная вражда между жизнью и великим созданием», заметил Рильке, и вопросы такого рода как раз и выражают эту вражду. Надеяться на мир здесь было бы неразумно. Но если мы хоть иногда выслушаем с доверием и другую сторону спора, вечно виноватую перед «жизнью», может быть, и сами проблемы этой жизни, измеренные другой мерой, окажутся не такими тупиковыми — и дело поэта, которое Рильке сравнивал с подвигом св. Георгия, поражающего дракона, и Орфея, выводящего душу из загробья, — не покажется таким бесполезным. Миссия Поэта — в последней формулировке Рильке — состоит в хвале. И земля, на которой оставлено пространство хвале, восхищению и преклонению, наверняка окажется не такой страшной и не в такой мере обреченной на собственные уничтожающие противоборства.

* Большую часть жизни Рильке прожил за пределами Австрии. За исключением ранних книг, его сочинения лишены местного колорита. Рильке преодолевал границы родного языка (*Vergers*, книга французских стихов, попытки писать по-русски). Духовной родиной Рильке считал Россию, «страну, которая граничит с Богом», родиной своей формы — Францию; в поздние годы он вернулся к Германии Гете и Гелдерлина. Это не считая духовных скитаний по Дании, Испании, Востоку, мирам великого прошлого — классической античности, Библии, Средневековья. Рильке вновь явил тот склад, о котором писал Данте: «Мы же, кому весь мир, как рыбе — вода». Исследователи Рильке видят в его космополитизме именно австрийскую черту: он гражданин «лоскутной», «ирреальной» империи, какой была Австро-Венгрия, призрачная наследница европейских империй Средневековья.

** «Здешнее» Рильке («все станет здешним») предполагает уничтожение дуализма «материального» и «духовного», «здешнего» и «потустороннего»: это требование такой полноты существования, которая не нуждалась бы в восполнении трансцендентным. Оно противоположно стремлению развоплотить мир, вернуть его в «нездешнее», которое знакомо нам по русскому символизму. Но это и не «прекрасная вещьность» акмеизма, который обращен к уже оплотнившейся реальности мировой культуры. «Здешнее» Рильке — эсхатологический мир, вещь, полностью совпавшая со своим смыслом.

ЛАРИСА ВАНЕЕВА

ПРИЗРАК ОДНОГО ТАЛЛИНЦА, ИЛИ ГИБЕЛЬ ОДЕССЫ

РАССКАЗ

Любовь к одиночеству началась, как всякая любовь начинается: если раньше блуждал я в толпе безлико, то теперь готовился к часу вечернему, к священнодействию свидания, когда, задернув синие гардины, сбросив с дивана атласную подушку, поднесу к фитилю зажигалку и перед незримым поводом моим, придворно пятась, мысли исчезнут за колоннами.

Военная угроза, иммуно-дефицит, экологическая катастрофа поразит всеохватное понимание мира, где она неприкаянно блуждала, и события, происшедшие с ней, все ее беды, печали трагические или бездумные радости откроются воедино, и падения, отчаянье, стыдость и стыд, что не вынесла, гибель, от которой ушла, станут пустяком, так что если не подхватит ветер влечения, ветер новой жизни, в котором она, забывая старую привязанность, зеленоватым эмбриональным облаком помчится к новому воплощению (а меня не отвлечет мысль упавшим на пол кольцом, брошусь поднять и увижу кисть свою, пинцетом вынимающую из огня черепичные крыши), то равнодушно сожалел о прежних упованиях и крахах, отбудет душа в молодецкий котел с бирюзовым, фиалковым, лазоревым, окунется, всякий момент наново осуществляясь — что это и есть ее истина и суть: фиалковая, бирюзовая, лазоревая — и попеременно во всем рождаясь, в полете покой поймет и вдруг очнется в грубом члене, во мне.

Я —

Я о музыке, которую включу. Веки прикрою в компакт-касетном мире: зажгутся огни шемяще-сладостной акупунктуры — отклик чужих чувств играть в объеме груди — стану пультом, ползут чужие шупальцы, включают. И так, слезы выжимаю меж ресниц: глаза мои — море севера, камни, болото, корни переплетают мхи, босыми пятками давишь теплую слезу.

Сластно (слово пошлое, но не могу подобрать), будто во поле из заключения под зеркало мерцающее выбежал: люди — тюрьма. Стены и потолки их с бетонным полом в кровоподтеках заслоняют до полного забвения. Пинцетом вынимаю из фиксажа черепичные крыши, что застыли в ледяной лавине. В ужасе обыденности стеклянно виснут капли. Механическими таблицами шелестят дни. От событий, вполне заурядных, дыбом волосы, от трупов в шизо* веселее. Притворно увожу взгляд от черепиц, что притягивали часами, выражая его настолько, что могли руководить мной, даже мысли я отбрасывал не столь бла-

городные, чтобы устроить его, этот город. . . И вопреки очевидному, не покидают ли нас родители тогда, когда внутренне мы уже бываем к их уходу готовы?

Угнетая общностью чувств, всегда семья напоминала мне коллективный и скучный поход, в котором стирается индивидуальность. Какая бы внеармейская дисциплина, сколько бы ни сидел у ручья — нужна передышка от совместности. Протест отщепенцев вызван потребностью быть собой, и невелик кайф из затворничества сливаться со здоровой ячейкой, особенно если принимать во внимание показатели труда, то есть его ухудшение.

. . . И не мог я уже рассчитывать на их приятие. Впрочем, после первой истории они любили меня только больше (в девятом я проиграл в карты четыре тысячи). Вынужденный покинуть город, в записке я указал им, как расплатиться: на Ланжерон подьедет такси. . . ставка — жизнь. Человек конченный, я не вернусь к вам, родные, не считаю вправе, пока не возьмешу. . . Долго мотался по стройкам страны, пострелял и в Афгане, долгую сочинил себе от них увольнительную.

В моем возрастном стремлении к ним они теперь знали предательство. Мать заставляла я гладить по непокорным когда-то вихрам: «. . . детей необходимо гладить по голове, иначе будут глупы». «Ты уж не в том возрасте, сынок», с нарочитой лаской давила она мне плешивое темя. «Не пародируй», предупреждал я. Я предупреждал. Льет из банки черешневый сок. «Прекрати!» как псих заорал я вместо «хватит». Переступив обиду, гладила она всерьез. Мне щенячьи хотелось ткнуться ей в мягкую грудь, в халат, отдающий духами, чем кухней. И тут она резко сбегала — что-то там пригорело. Я горбился над суповой тарелкой.

Благо, редко бывал. В наезды знобило семью. Бежать за бутылкой, нет, я из дипломата вынимал: «Черный док», «Старый Таллин», валютную водку. Отец в кресле разомлел; младший братишка скакал, но, повзрослев, стал в угол уходить, еще старше, выговаривать мне начал, заикаясь. Дразнил его до хохота, до колик, в раздражении он смех обрывал, мой младший братишка. Псу передавалось, старине, — мать на него в крик срывалась. Отец, проснувшись, меня не замечал, к матери обращаясь бесконечные повествования.

Бесшумно прикрыв подъезд, отстрелялся, я вдыхал уличной гари и набирал сил с первых шагов. Под трамвайными проводами мучал. Чем дальше от них — тем больше. У моря сомневался: зачем опять примкнул, начав о делах, понравиться захотел, а становлюсь слаб так, что спасение всё то же — бегство.

Нет, гора с плеч, желанная в себе энергетика, я смогу поработать, забыв об их существовании и сомневаясь в собственном. Я приеду, когда устану от работы и новая поездка

* штрафной изолятор



РИСУНОК ИНЕТЫ БЕРКМАНЕ

послужит разрядкой. Я не примкну больше к ним, то есть не начну говорить о своих делах с нравящимися мне людьми, чтобы легче слиться с ними, отдать им себя, чем они не преминут воспользоваться, и от чего я стану слаб так...

Но если в Одессе я с детства был перст унылый, то в Таллине приметно как растворялся от самого вокзала и в магазине улицы Пикк, вдруг случайно обнаружив себя как на полке среди такого же товара, отходил удовлетворенный, будто внезапно узнал себя в зеркальной витрине, отражающей толпу, и сам себе понравился. Именно удовлетворение я испытывал с первых минут вокзала и далее не знал забот. Мне нравилось спешить так же, как таллинцы по своим делам таллинским, и нравилось, когда обращались по-эстонски. Грязные чухонцы... ну да, когда-то они были грязными чухонцами. Несколько секунд я был эстонец, прежде чем неуклюже отвечал по-русски, и мы расставались с сожалением взаимной симпатии, будто так и не нашлось огонька. Неприязни не было. Что я не такой, как они, только усугубляло нашу сросшенность, рассеянную по улицам старого города, но ближе к окраинам, на широких и тоскливых проспектах, одинаковых, как везде, особенно под стеной какого-нибудь завода, столь не таллинского, противоречащего духу таллинскому, где даже его кудесники простели, суетясь о сцеплениях и помятых крыльях, понимание обоюдно утрачивало плотность, обезличиваясь до сухого снега, падающего из фонарей. Тоской из домов выветривался жилой дух, автомагистрально-квартильно бегали людишки, я там жил... в общежитии.

Что старый город — полюс, я ощущал отчетливо. Но это за полюс, где его центр. Петляя вверх-вниз по улицам, объявляясь с разных сторон, я искал центр полюса по Виру и Вене, Сяде и Пикк, Харью и Нигулисте, я подозревал в полюсе соборы и музеи, я думал, быть может, внутри горы его центр. Там зарыт старый магнит. Прогуливаясь вдоль серых башен Лаборатории, из-за названия сохраняющих дух милого школярства, я прятался вдруг в подворотню и стоял там, как кот... брызги катили мне за шиворот, жмурился, и точно не было со мной ни Афгани, ни строек, ни проигрыша, ни лагерей.

Бывало под утро, когда леденец неба таял в луче, а солнце стремительно, чтобы мог я не поспеть насладиться переменчивой его светозарностью, взбиралось к азимуту, не позволяя мне быть его художником, но понуждая меня подчиняться его движению, пропускать впечатления, стремительно не менее, чем оно, катясь к своему концу, что, должно быть, лучше того балдежа, к которому

я так склонен, что готов бесконечно прокручивать одну и ту же кассету до отупения, моя воля, и солнце заставлял бы я подниматься и спускаться на те пять сантиметров, что сдавливали мне горло, окрашивая черепичные шпильки единственным оттенком, от которого я готов; посели я солнце, куда мне требуется, какого великого кайфа бы я достиг! Но нет, пролетев мгновения летнего волхования, восход уж напоминает арбуз с семечками, от которого отвернусь... так вот, бывало под утро, когда, разделяваясь с бессонницей, поднимаюсь по Люхике Ялг от запертых ворот и слышу покашливание старого Мартина, грязящего затопить город, когда он будет достроен, теперь же булочником отпирающего свою лавку, я иногда встречаю милую фею, мимоходом задевающую меня, и понимаю, что же такое волшебство. В нем слова проплывают листьями на темной толще воды, сквозь которую видно небо, а ты не утопленик, нет, ты людскую постигаешь толщу, подводный мир витающих где-то поверху, забавляющихся листьями слов, что ровным счетом ничего не значат, как грядные галок на ветру. Эти общения средства более всего напоминают партитуру неисполняемой музыки, потому что, исполни ее, поднимется смерч галочек-нот, вызванный наверх заклиниванием ртов, хаос из толщи взметнется, захлестывая скалящихся и жующих, смяв владельцев зубастых бесчинно-бесечно. И горе им, пользующимся неизвестным! Потому плывут слова оторванными от корней на замедленной толще их владельцев, что не ведают, в какие стихи погружены.

Да нет же, не вода, воздух разреженный, в нем играют течения потоков воздушных, сияют предметы, и мир в каждой сияющей отдельности един и плывущ, точно мерцает подрагивающий экран кино немого... ах нет же, нет... помню, что словно вошел, ноги свои на пороге... не знаю точно, принадлежит ли мне мир, куда не решаюсь войти, приглашают туда или ждут как хозяина... и, пораженный его великолепием, кричу, что знал об этом, догадывался, ожидал... вижу ноги свои, скромно стоящие на пороге, у них выше колен меня нет, и их мне не обо что оттереть, ту землю со скользкой хвоей, что за каблуком, из того, грязного мира... и знаю, достаточно ногу согнуть, вывернуть, обнаружить, что грязи нет... но мне кажется, или хочет казаться, что ноги еще из того мира, я ими еще не вошел, стою.

Словами заклиная, держу их осторожно. Говорю так, как те поверну, чтобы не потревожить толщи, притворяюсь, что говорю. Наглость, обман — говорить так, как они, подсекая слово под

корень. Но боюсь, заклинаний не знаю действий, — что будет, если произнесу?

Здесь самоценно всё, что раньше не замечалось. Мне потребно это роскошное счастье... эта счастливая роскошь... такой сияющий мир. Как в национальном музее — всем и никому. Могу ходить и трогать сверкающие игрушки, взаимобразно они дотрагиваются до меня. И настолько же принадлежат мне, как я им каждой в отдельности. В нас нет проблем. В той роскоши владеют, в этой во владении нет нужды. В той желани ниже пояса, в этой сапоги остались на пороге, куда я вошел.

Я потому доверял эстонцам, плавая в их молчании как рыба в воде, что и сам был молчуном, и потому мгновенно понял, что хваленая и порицаемая их отчужденность на самом деле хорошо развита интуиция, которой не хватает мне в российской действительности: постукивая воблой о край, обсыпаясь чешуей слов, липкий вагонный стол с кругами винными, вокзалы.

Не было в эстонцах чванных животов, не было животами обычая прокладывать дорогу, — маленькая нация внутри себя была спокойно-доброжелательна в своем демократизме. Не было чавканья вкуса, хотя вкус присутствовал: отдавая должное, не обжирались.

Как бы повел себя эстонец у русских. То же ли позволил? Факт тот, что дома он себе не позволял, он был дома. И себя ограничивал, сдерживаясь перед домашними, был скуп и тщателен, не брезговал тем, от чего человек бездомный и бесхозный нос воротит. Наученные веснами собирать камни из полей — урожаем зимы, с терпением отыскивали эстонцы применение каждой отпущенной им доли, так что укради ее у них, оттащи в пространстве березок и бескрайних равнин, как отшлифованный их бриллиант оборачивался стекляшкой, каких полно вокруг, ходи — подбирай.

И потому в Таллине я довольно скоро почувствовал бремя того, что зовется совестью, и что стало терзать меня вкупе с моей неудачной любовью. Как пьяница, не желающий покидать кабачок, но знающий, что его ждет дома сварливая жена и дети-двоечники, я стал знать, что рано или поздно мне придется вернуться туда, где опускались у меня руки, туда, где так неуютно, что не представить, как можно всё переделать, и даже, если возможно, сколько вложить труда, столько, что выдохнувшись, я уже не буду способен на зарю, встающую над черепицами, как не способен буду отозваться на прилив румянца, стягивающего скулы бледного лица, вообще не склонного к краскам, в унисон чему во мне радость поднимется до колокольного буханья сердца... Помню, маленькую головку девушки в каракулевой шубке облегал бархатный берет, надетый на шерстяную повязку а-ля-афганка яркого индиго, этот же цвет повторяли тени на веках, переходя к бровям в можжевельно-красный, томный и печальный, отчего глаза ее были тяжелы, но так можно было в тот сезон носить на себе печаль неистребимую, вселенскую, безжалостную, вечную, что снималась только дома под душем и оставалась лишь неясным намеком в светло-серых умытых глазах... Нет, не хочу я исчезать, перемолотый в прах трудом, не хочу разъединиться со своим органом, будь даже звуки его диспонируются и хриплы. Ни чистой музыкой, ни чистым сознанием, ни чистым духом я не хочу быть, ооо... (я плачу).

И понимаю, как несовершен, утираю слезу. Рано или поздно махну на себя...

Вот когда поставят на жаровню, может, и заговорю по-другому.

Перетаскивать камни старой Одессы, точно выщипывать седину старой шлюхи, — такова мне будет кара и участь. Меня уже воротит от нее и ее волос, но даже ночью мне придется сторожить ее камни, не зная сна, так как жители ее в отместку придут разбазаривать и грабить, и прежде чем равнодушные их сменятся озабоченностью, пройдет немало времен.

Что ей за дело, что в чувствительности своей я не могу жить там, где мне плохо. Как много нас таких, летающих на готовенькое! Что ей за дело, живущей в своем Таллине.

Ах, Одесса, старая портовая ты шлюха, по неразборчивости и лени дошла ты до того, что тынет вымыть руки, едва с тобой распрощаешься. Уже сейчас жители твои не без гордости говорят, что из них, возможно, больны не менее тысячи спидом. Только имея сильное поражение мозга, можно гордиться подобными вещами, и только не имея ничего, чем можно действительно гордиться.

В предплечье вшив ампуду, нашел я новые ночные похождения, закрывшись в комнате и уходя в потоки, но уйти в них радикально боюсь. Словно всех нас эвакуировали или сослали в детдом, однако когда настало время возвращений, счастливым выпал Таллин, а таким, как я, — Одесса, то есть еще хуже того, чем была нам наша ссылка, о которой мы поспешили забыть. Так, отучившись в одном

корпусе, с неприятным изумлением вы узнаете, что ваш сосед по парте граф, а тот, что сзади сидя, донимал вас идиотскими выходками, списывая контрошки, сын нобелевского лауреата и уже теперь ему все прочат блестящее будущее. Из ночи в ночь я предаюсь отчаянью кайфа, извлекаю его из музыки, из сигарет, из освещения и декораций жилья, от бессмыслицы существования хватаюсь за вещественные доказательства его, от бессмыслицы болея, не расстаюсь с книгами, тахикардия дергает, и со своим вразнобой стучащим сердцем я продлеваю бюллетень, зарабатывая насморк на скосе Лай и Пикк. Задержав экскурсантов на вихре, — продрогшие, они нырнут в бар на чашку кофе, — я остаюсь на улице, наживая еще и артрит, но не хочу выздоравливать. Уходя в тонкие потоки, за чем уходят в вино не в поисках истины (с каких-то пор она мне малоинтересна), ищу забытья сладостного, при нем существовать в качестве паразита, и если этот парадиз имеет отношение к истине, приветствую тебя, красotka, напои меня так, чтоб не соображал! Пир истощает, похмелье утра перед раскачкой к вечеру пытает кирпичной подушкой, булыжным одеялом. Гроб постели вымыло в море. Ни берегов, ни весел. Цепляясь за матрас, смотрю на шлепанцы в глубине бездн, в ужасе, что день настал.

Металлисты и рокеры, видеодискоотеки, и мотоциклы, и яхты, взвихренные стрижи панков и общее улучшение благосостояния. Протестантский собор, и рядом католический, и баптистский, рождественские витрины и букеты из сухих цветов. Торты из творога, свечи на столах кафе, куда заходят после работы на «выпить кофе» и разговор с сослуживцей еще не означает, что ее куда-то следует дальше волочь. Богемный клуб «Ке-ку». Дружеский водораздел между эстонцами и пришлыми, приходящийся как раз на границы старого города. Раскрашенные театральные женщины и освещение мягкое, влажное, придающее очарование грубоватости черт. Экономная отделка жилья, где достаточно двух ярки локальных пятен, чтобы стало модерн. Удивление, что денег на такую отточность не так уж и много уходит. Обычной стене вы удивитесь, качеству краски, будто только что наложенной, или даже извещать паразит вас тем, что вы почему-то упустили, — совершенством.

А от совершенства недалеко и до монастыря. Повальное увлечение Востоком как культурой психической деятельности, и обязательные книги на языках, на стеллажах, с такими вот названиями. И где-то, в глуши леса, парни строят ступу.

И скифский язычник осенит зеващий рот вялым крестом, пока с выпяченного бугра его голого пупа сползают драные портки...

Виды из окна поезда, на котором я пересекал одну шестую суши, были настолько негармоничны, что внимание мое предпочитало их проскакивать, как роняю я в беспмятство и куски городской природы, обглоданной урбанизацией.

Я любил витать в облаках, делая круги по городу, чтобы длить витание: мысль заоблачной длины антенной находилась над небесной декорацией, сердце сжималось, дух был захвачен и унесен той, почти бездумной мечтательностью, где грезится какое-то свечение; тело мое теряло осязаемость, и только сердце на подвесных своих канатах ожидало меня где-то далеко и нежно, словно родной дом, к которому я вечно шел. Перешагивая ржавые обрубки и проволоку и попадая в лужу ногой, ничего я не замечал, лишь падение довольно болезненное могло меня вывести наружу, заставив быть настороже.

Но лежа однажды в подворотне после беспмятства, в которое на сей раз не я уронил себя, а меня уронили, кротко я взглядывал в небо, что розоватостью своей вынимало крыши из призрачности, принуждая их наливать плотью, и решал, что с меня хватит, — мне придется довольствоваться осязаемой плотностью жизни, постоянным присутствием в ней, а стало быть, делом.

Своим зрочкам я возвращал способность видеть, когда на смену невзрачным панельным коробкам выпозала высотка, уложенная на бок, такой скучной длинноты, словно задача архитектора в том и состояла, чтобы народ дурачки чесал макушку, махнув на всё рукой. Фамилии сих зодчих своим ушам приказывал я слышать, а памяти запоминать, когда — точно провильски канаты — разворачивалась долина с ровными травами и извилистой речкой, увенчанная церковным куполом на лесном горизонте, последним штрихом благословения всей зеленой, природной композиции — запоминать и сравнивать звучание. Эта орнаментальная отрада простых имен, занявшая не более четверти минуты пути, приносила то неприметное отдохновение красоты жизни, которую мы так тщетно ожидаем.

В детстве, в густоте вечернего поезда, боясь, что просним, уже в дремоте (мама нас обещанно будит) прильнув к стеклу, с легким сладким ужасом вступаем мы на гульки пролеты, грохочущие под нами, где свистяще секут воздух эстакады, — вы-

сунь руку, и она отлетит, — нам удастся выставить лицо наружу, в то время как сзади нас держат за пятки: серым оловом тяжело плещется река, через тело ее мы переезжаем так долго, что успеваем наскучить, и весь объем ее входит в нас сыро и тревожно, с облегчением вступаем мы на теплую землю с одуванчиками-незабудками, букет их можно набрать, если поезд приостановится и кое-кто рискнет спрыгнуть, силуэт причаленной лодки, копошащегося рыбака мелькнет на прощание, завершив в нашем воображении великую картину, ради которой мы и отправились в странствие.

Так и я испытал было счастье быть мужем, — ради чего, по-видимому, отправился в странствие жизни, сублимируясь быстрой ездой и путешествиями. В упорядоченно-благополучном Таллине с его соборами нестрашной, но призванной пугать готики, напоминающей детские ужасы, я нашел тепло домашнего очага, где, приходя, располагался удобно в домашних тапочках, снимал очки, потирал уставшие веки и гладил по льняным головкам играющих детей, а она, я не знаю, она тогда служила в аптеке, это абсолютно всё равно, где она служила, целиком сосредоточенная помыслами на муже, на тепле очага и детях, правда, нас отравляла мысль об атомной... все одно, что отравляет существование боязнь за жизнь единственного ребенка.

Спускаясь с папок по мраморным ступеням библиотеки, придерживая ее локтем, и еще стопка книг, она поднималась по боковой дубовой лестнице с переходами, известными ей наизусть, в светлом финском чуть измятом костюме, промытая и тщательная; в защитных свойствах очков не нуждаясь, без очков она не видела вокруг себя конкретно, ориентируясь в книжной сосредоточенности только для того, чтобы элегантно двигаться, на лестничных площадках получая предложения познакомиться.

«Нет, мне бы очень не хотелось», — с акцентом говорила она.

«... ха... ха-ха... ну и ну», — я покручу головой, а у нее не дрогнет лицо дома в ванной, когда, расчесывая волосы, осторожно снимая щеточкой тушь с ресниц, смывая ее под горячей водой и снова снимая, отчего в зеркале явятся бледная, но очень милая девица, и напуская воду в ванну, она позволит себе понежиться так, как словно бы бесприсутственно... Я, муж, вспомню о ней (дети, спать!), но она будет утомлена, голова ее будет кружиться и засыпать в подушке мыльной пены, рука моя приласкает ее и раздражит, и открыв глаза, она увидит сидящего на краю ванны человека в мягком пуловере и джинсах, успеет удивиться тому, каким счастьем оба обладают в виде доступных физических средств, и оттого, что мозг ее за день проработал прорву книг, мыслить ей будет просто нечем, и словно и наслаждения не будет, только одно она станет различать, запрокидывая голову, что свет делается ярче и ярче, не может быть такого ослепительного света, а если и может, то при взрыве, она же, оглохнув и потеряв обычные чувства, этого взрыва не...

Порой я мог бы держать руку в огне, порой укол врачебной булавки заставлял корчиться. Понимая относительность всего, и то, что принимал как будто за себя, но что вскоре ухотило, а я был, и то, что не было во мне, но в моем образе объявлялось как палочка-выручалочка, когда я уже не мог, и то, что спал и видел сны, и то, что их не видел, я... от сквозняка дверь захлопнулась с таким треском, что, вернувшись в спальню, с досадой я решил: вот и хорошо.

И засыпаю тотчас, потому что очень хочу спать, и сразу снится сон, в котором достигаю с ней еще большей глубины и понимаю всё недосказанное, и несчастной, плачущей ей объясняю, за что ее люблю: «За то, что ты эстонка...»

Чувство это сродни чувству несчастного скитальца, который время от времени навещает родину, и впервые узнав, что она у него есть, спешно передает ее, чтобы пуститься в прежние скитания, к которым он сумел уже привязаться, как умеем мы привязываться ко всему, что бы ни выпало на нашу долю, как должно быть втайне привязаны к тюремным стенам, всеми силами стремясь на волю, на воле же тоскуя по прежнему, привычному, нет, не по голым стенам, а по тому привычному состоянию, что обретается, обрелось нами в тюремных стенах за долгий срок; так привываем мы, полюбив данное нам тело, какие же уродства в нем ни скрывались, так любим мы свои достоинства и недостатки, так как и в них находим себя, так ценим, собственно, и жизнь, хотя догадываемся, что есть еще что-то, где были бы мы бесконечно счастливы.

И быстро проснувшись, я осознаю, как безумно люблю, гляжу на часы: возлюбленная моя еще едет в аэропорт и хлопает носом на заднем сиденье такси. Одно только в силах утешить — прошлый опыт, который в конце концов становится в свой черед, как очередь в магазине, и отделение произойдет

с той же неизбежностью, как улица, аптека, фонарь, двери ресторана и витрины книжного, белая лестница на второй и третий этаж, идущая винтом, и молодежь, вбегающая с мороза с красными щеками.

Счастье в том и счастье, что неизвестно; едва распознаем мы его, так и тускнеет, странное это золото, которым нельзя обладать: быть или иметь? Последствия тусклого наслаждения слишком хорошо зная, виновные за метаморфозы страха, довольствуемся однозначностью наслаждения и всё же виним в отсутствии счастья других, кто заставил нас им не верить, и в чем они, право же, не повинны. Мы требуем от других поступков для нашего доверия, в силу которых могли бы быть счастливы с ними, не подозревая, что нам мешает наш собственный страх или отсутствие сил, уже истраченных на пустое.

Я истер об нее, истер уздечку, залил простыню кровью.

То мне мерещилось, что она медуза, то какое-то животное с красивым и чудно звучащим именем, которое я обнаруживал в ней, но не думал, что превращение настанет так скоро. Светло-серые глаза водянисто нависали надо мной в обрамлении ненавистного желтого городского облака, состоящего из нейротеплического газа фреона и изморози стекловаты, что, выпав на газоны, заставляла чешаться собак и птиц. И я бежал от нее — мне больно было видеть... Тоска была устроена таким образом, что открывалась как люк канализационного колодца, куда прошлой осенью упал ребенок и сварился, кстати, они попадались в ней на каждом шагу, весь город был ими изрыт, в десятиградусный мороз из них валил густой пар, летом бил метровой высоты алмазный ключ, растекаясь по центральным улицам вплоть до Дерibasовской: это была система — жить без воды, накапливая ее по утрам и вечерам в ванны, ведра, кастрюли, бачки, чтобы потом, неистраченную, сливать и наполнять сосуды свежей на всякий случай, отчего трата воды в городе была неизмеримо большей, чем при обычном расходе, но объемы по радио и телевидению, напечатан в газетах, что воды отныне будет достаточно, все равно никто бы не поверил, запасаясь впрок хотя бы на текущие сутки. Это расточительное недоверие огульно я приписывал черте национального характера тех и других, то есть евреев и хохлов, хотя сам был наполовину хохол, обожая свою хохлушку-мать и всегда с радостью наблюдал стремительных юных жидовок, еще тоненьких, черноглазых и падких на бонмо и бонтон, умеющих понять тебя с полуслова.

Когда из колодезных люков валил белый пар, я боялся туда заглянуть; но заглядывал, в бездонном зеркальном темном отражая деталь себя, лацкан куртки... и тоска схватывала за горло. Загорая, пойманный, на камнях, я без шуток думал о самоубийстве как просто об уходе из этого города, в котором мне плохо, хотя любовь к нему разрывала меня на части гибнущих стен, лестниц, подвалов, крыш и этажей.

Без плоти среди плоти, без любви среди любви бродил я призраком, вглядываясь, как приноровились другие. То, что к Одессе приноровились, было ясно, я мог бы испытывать нежность в связи... нет, не нежность, но мог бы понять среди них себя, мог с теплотой, допустим, обнаружить, выходя с десятилетним другом, сам десятилетний, из замкнутого двора в туннель арки (куда открывались подъездные пыльные двери, на ночь раньше арка запиралась воротами, но теперь, ржавые, они служили нам для верховой скрипучей езды) под крик соседки: «Нам здесь не нужен чужой!» на улице с гигантскими акациями, роняющими сабли-семена, сухие, они трещали звучными трещотками, — с теплотой мог бы однажды обнаружить, что и я среди них свой, но теплоты не было... приглядываясь, я убеждался, что не один таков, кто, голову пригнув, спешит, нарочно не здороваясь с соседями, — бомондом местным, отсиживающим зады за столом среди двора подле текущей нити из неисправной колонки. Возле колонки полное зеленое ведро их расточительной скарденности. Провисла виноградная лоза над бельевыми веревками. Запотело золото на жирных шеях. Гипсовая балерина подобрала юбку на подоконнике полуподвального этажа под сенью горшка с геранью. Каждый день кто-то поворачивает ее на сантиметр вокруг оси, так что через неделю после приветствия гипсовой ручкой, она, отвернувшись, не хочет на вас и смотреть, словно соседи обиделись, или вы того заслужили.

Дело было только за тем, чтобы и в Одессе стать как все, слиться в витринах с множеством, от потерянности своей проделавших лазейки, изгрызших камень. Тошно, но наловчились же в тоске, умея забывать в тех светлых радостях, что раньше не привлекали и за которые теперь держатся крепко. Они их держат.

Чтобы проверить себя (не во мне ли причина?), утром я подходил к ватману и, застыв перед чистым листом, гипнотически водил кистью с тушью, размышляя над полученным рисунком. Как правило, он был не слишком пристоеен, я хорошо разбирался в символах, мог вычислить фрейдизм в аляповатости

овалов и зубах, но и исполненный тонко навевал соображения об очищении. Божественная природа настоящих художников жизни в такие минуты казалась мне недостижимой, хотя уже и знал я, как это делается, точнее, знал я, как не надо жить, я говорю о художниках в широком смысле... Мне всё мерещилось, что однажды бессознательно выйдет нечто, чем смог бы восхититься мой логос, а демоны оставят меня. Со временем обнаруживая, что нет нужды выдумывать, что любая, самая фантастическая выдумка содержится во мне с той же определенностью, с какой на карте можно найти координаты двух моих городов, я, как ученый при виде хорошо оснащенной лаборатории, где ему предстоит работать, вкусил своего рода оптимизм. Подобные настроения охватывали меня, когда я был безотчетно счастлив, в тоску же не было желания творить и почти с радостью думал я о близком конце, как о желанном освобождении. Я отмерял короткий срок, еще года три, и тогда хотел что-то успеть, думая, что три года не три растяжимых десятка, и можно потерпеть; даже если скручивает то ненасытное ненастье, которое обрушивается столь внезапно, что, должно быть, вызвано силами, к природе отношения не имеющими, тогда и я наполнялся происходящим, что видел по нездоровью, наполненному однако могучей потенцией. Помню, в детстве в такие дни я упоенно читал, и если не мешали, доходил в чтении до изнеможения. Позже начались прогулки, далекие и страстные, так как непогода окутывала мечты непроницаемой для прохожих пеленой: каких только жизней я не проживал... Вой ветра дорог был как музыкальная оркестровка: постоянного шума, звучный подвыв, дребезжание стекла в рамах, великолепно задрапированное мглой небо, голова дракона, выглядывающая из облаков, и те необъяснимые стуки, неизменно возникающие, которые только периодичностью своей убеждали в их неорганизованном происхождении.

Ели, надломленно стоящие, не вызвали во мне участия, хотя я мог понять их. Воображением я был на стороне стихий, сердце дарил им тоже, пока не обнаруживал, когда природа успокаивалась, что демоны, которых я принимал за себя, оставили меня, умчавшись вместе с ветром.

Познание сущего или то, что принимается нами за его познание, есть одновременно чистейшее блаженство бытия. Оно творится в нас как бесплотный дождь, осыпающий из безоблачной сини, серебро его приснопамятно и приснотекуще, печальная же багровая окраска, которая, сгущаясь до черноты, как пышность осеннего заката, оттеняет его, если взглянуть в небо обычным, своим взглядом, есть скорбь нашей приснодевы по нас, ее птенцам, которые, раскрыв рты, могли бы питаться манной небесной, что не замечают, — могли бы или должны? Факт тот, что ориентированная не на блаженство цивилизация, не справляется с задачей — народ всё пребывает, очищения не происходит, отсев мудрых ничтожен. Демографическая ситуация напоминает метро в часы пик, где к тому же выход перехрывает.

Разило во всех подъездах городских старых особняков, разило и на лестнице подъезда центральной детской библиотеки, на всех трех ее этажах, — я поднимался, зажимая нос, входил в коридор с детскими рисунками на антивоенную тему (один помню до сих пор: мясорубка, в нее вталкиваются бомбы, а выползают булки и книжки для стран третьего мира), смрад в коридоре насыщался духами и кухней, где библиотекарши готовили себе обед, в читальном слабел, на абонементе почти не было, среди стеллажей я забывался.

Спускаясь вдоль глухой грязной стены, обходя лужу на одном из пролетов, внизу я привычно ударял ребром ладони по искореженным ящикам почты, они висели с тех пор, как в здании этом жили, на ящиках фамилии жильцов еще можно было прочесть, «пустырник» там стоял «на спирту», пузырек пустой, кто-то походя вылакал в подъезде.

Проиграл ли я четыре тысячи — не помню, но то, что из дома сбежал... меня интересует количество юнцов, сбегающих из дома, в процентном отношении, полагаю, что процент этот будет соответствовать количеству эмигрантов... помню, как рыдала мать: «Господи, прости меня за то, что я родила такое чудовище»; помню военный трибунал насчет агиток в Афгани, боевое ранение меня спасло: мне дали четыре года; помню «химию», куда нас отбравли как лошадей, заставляя оскалывать зубы, приседать, отжиматься и вывертывать веки; помню апатию, варварство и беззаконие сибирских строек; помню и то, что для того, чтобы выбиться в люди, требовалось пройти этап проститутский (благо, с этим бы, выбившись, завязать, пережить, как необходимое унижение)... помню всё, но не хочу вспоминать, как не могу примириться с Одессой, угнездившейся во мне своей ноосферой, клубящейся мыслями и снами ее обитателей, в диком числе расплодившей кошек и горлиц в трещинах развалин.

Ее жителей я с детства не принимал, отсиживающихся на

лавках дворовых склепов или стульях учреждений, упорно презирал и не желал уподобляться, превращаясь в одного из них. Она же, Одесса, не понимала, что в борьбе, неизменно оканчивающейся моим поражением, превосходя во много тысяч мой стан, подавляя меня страхом, как девятый вал нависнув надо мной, от которого я бежал, заклиная, в Таллин, с чемоданами, только сдавшись, могла бы возродиться, воскреснув новизною конца прошлого века, однако эта косная материя предпочитала гибель, лишь бы не сдвигаться, не отрываться со своих стульев, щелкая на допотопных костяшках и позволяя мухам ползать по стенам. Правильно, тогда думал я, что ее ждет игорный дом, второй Лас-Вегас, который хотя бы золотым телом встряхнёт аморфную массу. Свое жидо-масонство она заслужила.

Потом и море стало меня отталкивать тяжестью и гушиной вод, что за радость плавать на солнце и солонеть?

Я мечтал о проточных ручьях, о волшебных озерах с невесомой кристальной водой, в которой так легко утонуть и которые так полны потому русалками, что опутывают недомоганием и утечкой сил, с жаром и слабостью, когда грудь щемит как при простуде, с той только разницей, что щемление это сладко, но с таким же замутнением сознания и ощущением, что проваливаешься в воздушную яму; при резком торможении поезда воспоминание о ней так отчетливо трянуло меня, что, склонившись перед ней, я перехватил планирующий из палки лист, но спустя минуту, неизвестно откуда пришедшее и кем вызванное, погасло огнем, которому почти нечем тлеть, как вдруг в ином, темном углу сознания вспыхнул новый и залил тело эмоциональным пожаром, и из окна я явственно увидел ее на перроне, отчего видение осталось в памяти так же, как реальное, навсегда связанвшись с кипенью деревьев, мимо которых я проезжал с мыслью о ней столь разлитой на всё вокруг, что ветви их пропитывались ею точно сиропом, истекавшим из моего сердца... агрессивно я двинул в тамбуре мужика, заступившего дорогу, вспышка была настолько яростной, что в поезде, будучи с приятелем, он не подумал связываться.

Эти приступы, прорывы в надреальность ударили меня своею безусловностью, как запах цветов в комнате, которых я не видел, — воздушно-щемяще-болезненно расширилась грудная клетка, ребра воспаленно пылали разогретыми прутьями, сердце и легкие теряли плоть в белесом тумане — в каплях влаги и простуды, в разбухших подошвах и зонтах, в спешащей толпе древнего, идеализированного мною города.

Была ясная полная луна в разводах фиолетового сияния, чистая небесная твердь и туманная тяжесть по низу домов, подъезды размывались в электрическом желтке, коньки крыш вырисовывались отчетливо. Сырой туман давил на оседающий от тепла снег, с крыш текло частым гребнем, рядом с метровым сугробом вокруг стволов вдруг обнажалась земля. Сырость эта давила на психику; порядком забытая вдруг оказывалась нестерпимо любимой, мало того, единственно существующей силой, полюсом внутри града, к которому тянулось и на котором замыкалось и мое существование, а впереди еще предстоял март, и апрель, и майское беснование.

Меня провезли мордой по снегу, а потом бросили в ледяную купель, торопливо заступами раскидав сугроб, чтобы окунуть туда, погрузить с макушкой, чтобы я там подох, только бы не рвался к ней. Так меня отметелили, и так был я безнадежно привязан, зная вместе с тем, что это ничего не даст, и она никогда не будет со мной. Чтобы она была, мне должно было бы измениться, что я не то, чтобы не мог или не хотел, а... словом, предпочитал безнадежность.

Я лежал в таллинской подворотне, когда острые черепичные купола и узкие стены склонились надо мной, протягивая руку, (я подумал вначале, что милиционер). Не себя я понял тогда, а его — словно его любопытство, на которое я еще не умел ответить, присутствуя родом уличного манекена, раскрашенной куклой, близкой ему по духу, но всё же далеко не так богатой жизнью, что была в его окнах и манила в дверях, куда я, пригнув голову, мечтал однажды войти, ничего не оставив на пороге.

Да, оказывается, это я стал объектом его любви, всеисилье которой принимал за свою, это я поддался его чарам, это я надеялся и не верил, и однако же знал, что если победа будет за мной, то не за лучшей моей частью, а за той, что привыкла побеждать, и победу которой ценил лишь постольку, поскольку она приносила мне удовлетворение, как еда и питье, но направляясь к нему, закрытому для меня, как его рекламы фильмов на чужом языке, я надеялся на спасение, на то, что ступени мои восстановят, что стены мои выпрямятся и окна засияют, что худые крыши мои и канализация вен и водопровод моих артерий... мои кошки и голубы, мои гибнущие дома и море, моя знаменитая лестница, памятники... Он открыл мне свою любовь, а я до сих пор этого не понял!

АЛЕКСЕЙ ИВЛЕВ

СТЕНА И ТЕЛО

1. Я не знаю, возможно ли поверить в то, что в начале было названо жизнью, в то, что было верой в нее и в то, что от нее осталось: новогодняя ель, утратившая способность расти, мумифицировавшиеся сказки и слипшиеся под воздействием влаги и огня перемолотые семена, хлеб наш насущный,

кинетический коллаж на асфальтовой речке из окурков, мокроты, газет и собачьего кала,

оболочка любви, вынутая из домашнего водоема дождливой ремонтной погодой.

Зачем же стоишь под дождем теряешь и слушаешь время, заученное, как букварь, и простое, как напильник!

Зачем же идешь вперед и сквозь стену проходишь,

зачем же смотреть, да и что нам под силу увидеть!

2. А когда нам достанет ума, чтоб слова заменить на пингвинью мимику и когда станет взгляд столь же красноречив как и дождь, как и нож, мы уйдем вслед за ним по бесследной, бессмертной траве и как тень вслед за нами пройдет наше время — вперед.

3. Как в мире, полном спелых вишен и запаха цветущего жасмина присутствует как нечто само собой разумеющееся звук, произрастающий из птицы, так в нас естественно и нежно присутствует пустота, незанятое пространство перед воображаемой стеной, но именно она, пустота, делает нас собой, провоцируя на путь. Огромна жажда заполнить пустоту! И в огненных скафандрах мы под дождем идем вперед, стене навстречу. К плечу — плечо.

4. Не буду придумывать сны. Опишу то, что есть и давно уже было — тело, тело своего мира в водовороте разрушений и метаморфоз. Процессы эти строго последовательны, неумолимы и аккуратны, как надписи на памятниках. Функционально они сравнимы с полетом — куда бы и кем-бы он ни был направлен, он всегда оканчивается у стены.

Подобно тому, как по мере разрушения люди, похожие на птиц, утрачивают способность не летать,

Подобно тому, как по мере приручения лисица превращается в собаку, а собака в волка,

Подобно тому, как по мере надобности солнце заставляет светиться ком свалывшейся пыли под названием луна,

предмет тела, погруженный в сумму предметов тел, образующих волну, способен к Перелету Через Стену.

Там — жизнь.

ПОРТРЕТ СТРАННИКА

Ты не темный, ты загорелый, но и в этом, конечно, есть доля вины конечной, и за это прогонят тебя сквозь строй удивительных гор.

Это ты и этот динозавр с вафельным полотенцем вокруг талии, с грелкой под полотенцем и с градусником под мышкой, со склянкой шершавой микстуры в зубах, с перевязанным горлом пионерской щикотной повязкой,

по колени в амебах бредущий по этим широтам межстрочным, сквозь этот воздух межстрочный

с гербарием в голове — плодом трудов твоих таскательных и котельных.

Подмышечный дух орхидей театральных и клиник финиковые расчески, и детский рисунок наскальный в заросшем травой туалете, и сейшельский орех, и противотанковые агавы не спеша уложил ты в неприкасаемый гербарий.

и прокладки из снов для вчерашних событий миражных, что прокладки из папиросной бумаги полупрозрачной, чьи подземельные контуры, отпечатанные на углях многоугольных,

уже походили на будущий рай, положил ты меж строк, чтоб светились.

О личиночный рай-черновик, о рампа твоего доисторического материализма с остановленными магниевой вспышкой друзьями нагими, с цитатой про волю и с песней, омытой кислородным и жидким дождем и боль,

и золоченая лень лаковокожего разнотравья подножного быта, куртуазного быта утробного слуха гитары с круглым окошком всегда полноводной луны!

О гитара гитара гитара тонущая на твоих глазах и руках и коленях в непроходимом поле цветущего белого мака замкнутого электрической плетью площа на изоляторах китайского фарфора богоравного царя твоего, Ашоки! . .

. . . И все: и день и ночь, и даже эхо звука — все гасит тополиный лет перины, где спали мы в полуденное время.

На целину ступай, на целину.

1984

Сколь же мало в списке твоим значит имя мое, зима! . . Секретное время года, имперсональный сезон. Пейзаж на стекле оконном — цветущий сад иностранный, а дырку продышишь — родина, континент по горло в манне снотворной. Лишь дыхание след оставляет на заиндевелем стекле.

Значит, слово должно быть равным выдоху, а мир — остальному, даже если высокоширотный мороз раздрает легкие в кровь при попытке его описать не по уставу,

Так ты любовью растворяешь окно.

Откровенная ночь, будто снимок рентгеновский и все видно насквозь, а думать и не о чем вроде . . .

Но отчего глядится в этот внешний мир и что так ищется в его срамной изнанке и в колбочку, до онемения пальцев, но —

поется.

... А вещей отрок кажет путь путем немногих.
Я вижу тень плаща и кончик шпаги.
Орлиное перо антенну заменяет
связующую нас с вневременным пространством.

Мне хочется сказать ему: Прости
за что-нибудь, как я простил однажды.
Я умер не от нестерпимой жажды.
Я все же услышал свои шаги.

Прости меня, что я приду вторым.
Что номера? Здесь нету номеров.
Здесь все равны. Никто не жаждет жажды,
а просто — счастливы — во веки всех веков.

ПО ДОРОГЕ К ПУНКТУ Б

Старуха с лицом, будто выдавленным на фольге, смотрит не на тебя, не бойся, направо, отчего ее глаза кажутся бело-черными — границы зрачков делят их пополам.левой рукой она придерживает девочку, спящую, держащую себя за нос левой рукой. Правая рука девочки на левой руке старухи. Правая рука старухи не видна.

Старик спускается в подземный переход. В правой руке у него кулек и авоська с яблоками и цветной капустой, в левой — бумажный рулон (чертежи! рисунки! обои!). За ним идет старуха в сером плаще. Видно, что она спустится позже.

Старуха в летнем платье с рисунком из рассеченных плоскостями окружностей, в очках на птичьем носу, ест мороженое. За ее спиной — к нам в профиль — парень с бритыми висками, в майке «adidas». Он в движении, его контур размыт. Он не встретится со старухой лицом к лицу. Он тоже ест мороженое.

Старуха скорчилась, как муравей, ужаленный сигаретой. Она собирает несгоревший уголь, вывезенный из кочеварки вместе со шлаком. В правой руке у нее молоток, им она отколупывает уголь от шлака, она стоит на коленях, нам не видно ее лица.

Старик, старый как смерть и страх смерти, улыбаясь невидящим глазом, указывает палкой в небо. Фон: глухая стена кустарника. За ним — пункт Б. Все. Больше здесь ничего не покажут. Закрой лучше сам глаза.

Пахнет асфальтом и скисшим квасом.
Пахнет очередью за мясом.

ИЗБРАННИКИ ТИРА

... и в глухом коридоре выбирая мишени — кто тигра,
кто лестницу, кто патефон —
с непонятною дрожью докладывали о желаньях
физруку.
Коридор в полутьме, только сцена обнажена
пуленепробиваемая. Скоро
послышатся выстрелы, и чеканке нерукотворной
мы оставим следы своих взглядов, спрессованных пульей.
Потрясенные, падают наши победы в окопы.
И что нам советы и пыль на щитах придорожных,
что мельтешение Шивы и что бурелом Парфенона,
когда сквозь игольное ушко стреляем в свою неподвижность,
а мельничка времечко мелет и, вечность летая, стоит!
И — первой расплатой немотств физкультурно-культурных —
бегущий кабан нарисует банан в дневнике
и незаметно вздохнет.
И выплеснут влево и справа проколот, как сердце —
простой ручеек-недотрога спешит затеряться в листве
ззеркальной

разбитой нами
вновь оживляемой
в новь.

ЖАЛОБА ДРЕССИРОВЩИКА

Ну как с такими зверьми работать!
Предложишь им деньги — они краснеют,
Предложишь им мяса — они хотят дичи,
Предложишь новую клетку — они о свободе мечтают.

И только когда предлагаешь свободу —
Они глубоко вздыхают,
И потом говорят, говорят, говорят.
А потом, несмотря ни на что,

Обретают свободу.

Сумма выдохов сжигаемых книг
тождественна объему ветра,
опираясь на который
каменные крылья Нике
удерживают в воздухе
ее обезглавленное тело.

1982

ЛИРИКА

Они так медленно идут
в своих тяжелых лисьих шубах,
что кажется — плывут.

В глазах — ни жалости, ни злобы, ни любви.
Холодный взгляд оценивает строго
любого из готовых для закланья
любимцев общепита —
агнцев,
нас.

И в золотой кибитке, запряженной
учителем — стареющим бараном
обоих светов знающим дороги
плыла Она ... Для каждого — Одна.

И бабочки как шахматные доски
с деревянным стуком складывали крылья
и раскрывали, высыхая в зное,
и, распадаясь, плакали навзрыд.

Они прошли, следов не оставляя
лишь волоски в пыли еще искрились
рыжо
какое-то время
ограниченное.

... И время свое отсроченное
вчерашим сачком ловить
антикварным
дитем притворяясь невольной,
головку пропальвая на предмет седины.

Телом, изувеченным собственным весом
физическим
в лифте, надежно в свободу падающим
очереди в «Ни За Что» под бой молотилки цепной
передвигаться.

В бесконечном двенадцатом часу.

Не выйти к морю,
не отмыться,
не станцевать,
не полюбить.
Не полюбить жизнь помилованную.

И мальчиков фосфорический рой
в телевизоре гноящемся
наблюдать отстраненно.

... Верблюд приближается к игольному ушку,
уменьшаясь вдвое с каждым шагом
неизбежно
в своей правоте ущербной.

АЛЕКСЕЙ ИВЛЕВ

НЕКТО ТРЕТИЙ, ИЛИ СУММА ВЗДОХОВ О ПОЭТЕ МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Ивлев принадлежит к поколению поэтов, о котором мне приходилось уже писать («Даугава», 1987, № 3, «Родник», 1987, № 11). Это Николай Гуданец и Савва Варяжцев. Я рад, что могу наконец сказать и о третьем из них. Это мои друзья и мое поколение. Нам всем примерно по тридцать лет. Каждый из нас в той или иной мере вырос на временах, «заученных, как букварь, и простых, как напильник», во времена стылой брежневщины. Все мы воспитаны на заплеванных семечками кинотеатрах, на тройках по алгебре, на загадочных фразах в учебнике обществоведения, на пионерских лагерях и новогодних елках, «утративших способность расти», на «очередях за мясом», на «Белеет парус одинокий...» и «На холмах Грузии лежит ночная мгла...».

Все это скорее о третьем, об Алексее Ивлеве. В нем нет ни твердой рассудочной ясности Гуданца, ни рафинированной неразберихи Варяжцева. Его стихи исполнены теплоты и искренности, он в наибольшей степени выразитель мироощущения поколения двоечников-гуманитариев.

Наверное, я пишу не то, что надо. Но стихи Алексея не хотят раскладываться по полочкам.

Поэт, который до 30 лет отроду не имел возможности опубликовать ни одного стихотворения, для меня уже Поэт. А стихи Алексея по-настоящему талантливы. В доказательство последнего тезиса я ничего не могу представить, кроме своего вкуса (с которым читателям «Даугавы» и «Родника» в каком-то смысле пришлось немножко смириться) и нескольких слов сверх того.

Я не знаю, почему, но стихотворение о том, что —
Человек, влезший на холм, тождествен человеку,
вылезшему из канализации, с той разницей,
что голова первого более воздушный шар,
чем капуста голова второго. —

— напоминают мне гоголевских героев: Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, у одного из которых голова напоминала редьку ботвой вверх, у другого — редьку ботвой вниз; или Кифу Мокиевича с Мокием Кифовичем; или Бобчинского и Добчинского (у Гоголя много таких оборотней, как мы все недавно узнали от Набокова). Наверно поэт не имел в виду ничего подобного. Но мне это сравнение кажется в каком-то смысле ключевым, так как за ним стоит сам поэт, напоминающий Гоголя своей поэтикой нелепой обворожительности. Он тот самый вечный «вещный отрок», которому орлиное перо заменило антенну или шпагу, жаждущий услышать шаги собственной жажды, собственного бесславья. Он просто попросил меня: «Вадик, напиши о моих стихах». Вот я и пишу, как могу:

Прости меня, что я приду вторым.
Что номера? Здесь нету номеров.

Здесь все равны. Никто не жаждет жажды...

Это мы все равны перед Богом, 30-летние дети 70-х годов, толстые и тонкие, умные и не очень. Нас очень

много таких вещей 30-летних отроков, гоняющих (продолжающих гонять) земной шар, как тряпичный футбольный мячик, за неимением лучшего сравнения; «любимцев общепита», агнцев...

Нашим учителем было само протухшее, воняющее время, мы расправляли крылья, снова «заправляли» их, как зонтики, и «плакали навзрыд». И наших слезинки не могли утереть даже маменьки-доценты и папеньки-профессора. По дороге в пункт Б нам встречались только унылые старухи, поедающие наше мороженое. И это наверно были мы сами. Прости меня, Алексей, что я пишу не то, что ты, может быть, ожидал от меня услышать; никаких умных разборов твоей поэзии не будет. Она, видишь ли, не к тому призывает меня. Она зовет к горькому братству на тризне нашего времени и на пиршестве времени нового, к которому мы с тобой относимся столь различно: ты с полуприкрытой надеждой, я с холодным нетерпением.

«Старуха скорчилась, как муравей, ужаленный сигаретой». Мне нравятся эти стихи не только потому, что они точны. Старуха действительно похожа на муравья, который скрючился от укуса не в меру раскурившегося внука. Но я вижу в них другое. Какие-то провинциальные задворки своего собственного детства. Каких-то коломенских действительно сгорбленных стариков и старух. Это было вообще старушечье время. И меня правда в детстве пугали старухой в сером плаще. И действительно эта злая старуха, сторожиха с клюкой, как бы заснятая рапидом (наподобие кадров на рынке в фильме А. Сокурова «Одинокий голос человека»), расхаживала по городскому парку, охраняя, надо полагать, зеленые насаждения, как тогда говорили. Не бояться этой злой старухи Парки, дожить до её доблестной кончины — вот истинный подвиг нашего поколения.

Но наша правота, друг, действительно ущербна, как у того верблюда, что пробирается к игольному уху и для того, чтобы вопреки иисусовой притче пройти сквозь него, худеет и худеет, теряя один горб за другим. Вот почему, друг, у меня получилось не ученая вступилка к твоим стихам, а дружеское послесловие, ничего не объясняющее, может быть, только задающее ключ к пониманию, к моему собственному пониманию их, настраивающее на ту волну, на волне которой я читал твои стихи, читал и перечитывал.

Сумма выдохов сжигаемых книг
тождественна объему ветра,
опираясь на который
каменные крылья Нике
удерживают в воздухе
её обезглавленное тело.

Пока мы держимся на весу непрочитанных книг наших и покида не падает ниц обезглавленное тело твое... Будь здоров, друг Алеша, будь здоров и счастлив!

ВАДИМ РУДНЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «МИТЬКАМ»

ШИНКАРЕВА

Кто такие митьки, читатель узнает из публикуемого ниже текста, а в качестве внешнего определения следует сказать, что «Митьки» — группа ленинградских художников, которая существует уже достаточно давно, интенсивно работает, регулярно выставляется — иначе говоря, ее участники живут обычной жизнью профессиональных художников. Другое дело, что активности митьков хватило и на создание собственной среды, живущей не только во время внутригрупповых разборок, но распространявшейся за пределами «своего круга».

Митьки нынче в славе: их выставки проходят не только в Ленинграде — по Союзу, за рубежом (в Москве, например, им отвели зал на Кузнецком мосту). О митьках в последнее время часто пишет пресса: и ленинградская и союзная (например, большая статья в № 3 журнала «Юность» за этот год; статья иллюстрирована «митьковской» графикой и выдержками из текста Шинкарева —

без упоминания, впрочем, имени автора), о них рассказывает Всесоюзное радио, на ЦТ о них подготовлен сюжет (и, вроде, уже показан во «Взгляде»), на студии документальных фильмов снимается фильм про митьков, на «Ленфильме» по сценарию Шинкарева и Тихомирова (музыка «Аквариума») снят фильм «Город», интервью с Д. Шагиным снимала американская телекомпания «АВС», митьками занимаются искусствоведы, а многочисленные энтузиасты перепечатывают «митьковские» тексты (кроме «Митьков», это «Максим и Федор», «Папуас из Гондураса» В. Шинкарева, «Золото на ветру», «Подросток и другие рассказы» В. Тихомирова), цитирование классических митьковских словосочетаний получило в двух российских столицах — и уже не только в них — широчайшее распространение.

Как растолковать этот феномен? Причин повсеместной признанности «Митьков» несколько. Ну, во-первых, талантливость участников группы.

Еще? Возникающий азарт игры, предоставляющей не только возможность стороннего созерцания, но приглашающей к участию в ней. Близость митьков к народной смеховой культуре, находящей обычно свое выражение в анекдотах, а тут — зафиксировавшейся в текстах и в самой атмосфере, окутывающей группу. Митькам удалось создать свой мир — цельный и человеческий, что, помимо приятности нахождения в нем, дает возможность взглянуть достаточно освеженным взглядом и на мир привычный.

Публикуемый прозаический текст Владимира Шинкарева является основополагающим документом течения и постоянно, по мере развития самосознания митьков, пополняется. Публикуемые две главы (сейчас их уже пять) отвечают первоначальному тексту, неотъемлемой частью которого являются и рисунки Александра Флоренского.

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ВЛАДИМИР ШИНКАРЕВ МИТЬКИ

Ниже приводятся начала лексикона и правила поведения для нового массового молодежного движения вроде хиппи или панков. Участников движения предлагаю называть м и т ь к а м и, по имени основателя и классического образца — Дмитрия Шагина (однако, образ последнего отнюдь не исчерпывается содержанием движения).

Движение митьков обещает быть более органичным, нежели предшествующие названные движения: под митька почти невозможно подделаться, не являясь им; внешняя атрибутика почти отсутствует — митьки одеваются во что попало, лучше всего в стиле битников 50-х годов, но ни в коем случае не попово.

На лице митька чередуются два аффективно поданных выражения: граничащая с идиотизмом ласковость и сентиментальное уныние. Все его движения и интонации хоть и очень ласковы, но энергичны, поэтому митек всегда кажется навеселе.

...
МИТЬКИ,
...



...
ОПИСАННЫЕ ВЛАДИМИРОМ
ШИНКАРЕВЫМ И НАРИСОВАН-
НЫЕ АЛЕКСАНДРОМ ФЛОРЕНС-
КИМ.
...

ЛЕНИНГРАД 1985 ГОД

Вообще всякое жизненное проявление митька максимально выражено, так, что употребляемое им слово или выражение может звучать как нечленораздельный рев, при этом лицо его остается таким же умильным.

Теоретически митек — высокоморальная личность, мировоззрение его тяготеет к формуле: «православие, самодержавие, народность», однако на практике он настолько легкомыслен, что может показаться лишенным многих моральных устоев. Однако митек никогда не прибегает к насилию, не причиняет людям сознательного зла и абсолютно не агрессивен.

Митек никогда не выразит в глаза обидчику негодования или неудовольствия по поводу причиненного ему зла. Скорее, он ласково, но горестно скажет: «Как же ты, братушка!..», однако за глаза он по поводу каждого высказанного ему упрека будет чуть ли не со слезами говорить, что его «съели с говном».

Наиболее употребляемые митьками слова и выражения, на основе словарного запаса Д. Шагина:

ДЫК — слово, могущее заменить практически все слова и выражения. Дык с вопросительной интонацией заменяет слова: как, кто, почему, за что и др., но чаще служит обозначением упрека: мол, как же так! Почему же так обошлись с митьком! Дык с восклицательной интонацией — чаще горделивая самоуверенность, согласие со словами собеседника, может выражать предостережение. Дык с многоточием — извинение, признание в совершенной ошибке, подлости и т. д.

ЕЛКИ-ПАЛКИ [чаще «ну, елки-палки», еще чаще «ну, елы-палы!】 — второе по употребляемости выражение. Выражает обиду, сожаление, восторг, извинение, страх, радость, гнев и пр. Характерно многократное повторение. Например, если митек ищет затерявшуюся вещь, он на всем протяжении поисков чрезвычайно выразительно кричит: «Ну, елы-палы! Ну, елы-палы!» Очень часто употребляются в комплексе с «ДЫК». Двое митьков могут сколько угодно долгое время переговариваться:

- Дык!
- Ну, елы-палы!..
- Дык!
- Елы-палы!..

Такой разговор может означать многое. Например, он может означать, что первый митек осведомляется у второго — сколько времени! Второй отвечает, что уже больше девяти, и в магазин бежать поздно, на что первый предлагает бежать в

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРОВ: ВО ВСЕМ НИЖЕИЗЛОЖЕННОМ НЕТ НИКАКОЙ НАСМЕШКИ. А ЕСЛИ ЕСТЬ УСМЕШКА, ТО ДОБРАЯ.



МИТЬКИ ОДЕВАЮТСЯ ВО ЧТО ПОПАЛО, НО НЕ В ОДЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОПОВО.

ресторан, а второй сетует на нехватку денег. Однако, чаще такой разговор не выражает ничего, а просто является заполнением времени и самоутверждением митьков.

СЪЕСТЬ С ГОВНОМ (кого-либо) — обидеть кого-либо, упрекнуть. Видимо, сконструировано из выражений «смешать с говном» и «съесть с кашей».

ОТЯГИВАТЬСЯ — заняться чем-либо приятным, чтобы забыть о тяготах жизни митька, чаще всего означает — напиток.

ОТЯЖНИК — кто-либо, привлечший внимание митька, например, высоко прыгнувший кот. [Кстати, митьки чрезвычайно внимательны к животному миру, выражают свое внимание очень бурно.]

В ПОЛНЫЙ РОСТ — очень сильно. Например, оттянуться в полный рост — очень сильно напиток.

УЛЕТ, УБОЙ, ОБСАД, КРУТНЯК — похвала, одобрение какого-либо явления, почти всегда употребляется с прилагательным «полный». Например: «Портвяшок — полный убой [улет, обсад, крутняк]».

ДУРИЛКА КАРТОННАЯ — ласковое обращение к собеседнику. **МОЖНО ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ СПОКОЙНО!** — предложение сделать что-либо. Например: «Можно хоть раз в жизни спокойно выпить [покурить, посать, зашнуровать ботинки]!»

ЗАПАДЛО — ругательство, чаще обида на недостаточно внимательное обращение с митьком. Например: «Ты меня запаadlo держишь».

ЗАПОДЛИЦО — излишне тщательно [искусствоведческий термин].

А-А-А-А! — часто употребляемый звук. С ласковой или горестной интонацией выражение небольшого упрека; с резкой, срывающейся на хрип или визг — выражение одобрения.

А ВОТ ТАК! — то же, что восклицательный «ДЫК», но более торжествующе.

При дележе чего-нибудь, например, при разливании бутылки, употребляются три выражения, соответствующие трем типам распределения вина между митьками и их собутыльниками: **РАЗДЕЛИТЬ ПОРОВНУ** — вино разливается поровну.

РАЗДЕЛИТЬ ПО-БРАТСКИ — митек выпивает большую часть.

РАЗДЕЛИТЬ ПО-ХРИСТИАНСКИ — митек все выпивает сам.

Высшее одобрение митек выражает так: рука прикладывается к животу, паху или бедру, и митек, сжав кулак, мерно покачивает его вверх и вниз; на лице в это время сияет неопределимый восторг. Митек решается на такой жест только в крайних случаях, например, при прослушивании записей «Аквариума».



«ОТЛУЖНИК»

Для митька характерно использование длинных цитат из многосерийных фильмов; предпочитают цитаты, имеющие жалостливый или ласковый характер. Например: «Ваш благородие! А, ваш благородие! При мальчонке! При мальчонке-то! Ваш благородие!». Если собеседник митька не смотрел цитируемый фильм, он вряд ли поймет, какую мысль митек хотел выразить, тем более, что употребление цитаты редко бывает связано с ранее ведущимися разговорами. Особенно глубокое переживание митек выражает употреблением цитаты: «Митька... брат... помирает... Ухи просит...»

Если митек не ведет разговор сам, он сопровождает каждую фразу рассказчика залихватским смехом, ударами по коленям или ляжкам и выкриками: «Улет!», «Обсад» или «Дык! Как же так!», причем выбор одной из этих двух реакций мотивирован услышанным митьком.

Обращение митька с любым встречным характерно чрезвычайной доброжелательностью. Он всех называет ласкательными именами, братками, сестренками и т. д. [Иной раз это затрудняет собеседнику понимание — о ком идет речь, так как С. Курихина митек обязательно назовет «корешком — курешечком», а Б. Гребенщикова — «гребешочком»].

При встрече даже с малознакомыми людьми для митька обязательен трехкратный поцелуй, а при прощании он сжимает человека в объятиях, склоняется ему на плечо и долго стоит так с закрытыми глазами, как бы впад в медитацию.

Круг интересов митька довольно разнообразен, однако, обсуждение интересующего митька предмета, например, произведения живописи, почти ограничивается употреблением выражений «обсад», «круто» и т. д. Высшую похвалу произведению живописи митек выражает восклицанием «А-а-а-а!», при этом делает рукой такой жест, будто швыряет о стенку комок грязи.

К таким сенсационным явлениям в культурной жизни города, как выставки Тутанхамона или Тисеи-Борнемиса, митек относится строго наплевательски.

Митек любит самоутверждать себя в общении с людьми, не участвующими в движении митьков. Вот, например, обычный телефонный разговор Дмитрия Шагина с Александром Флоренским.

ФЛОРЕНСКИЙ (снимая трубку): Слушаю.
 ШАГИН: (после долгой паузы и нечленораздельного хрипа, горестно и неуверенно). ... Шурка! Шурочек...
 ФЛОРЕНСКИЙ: Здравствуй, Митя.
 ШАГИН (ласково): Шурочек... Шурка... А-а-а... (после паузы, с тревогой). Как ты! Ну, как ты там!!!
 ФЛОРЕНСКИЙ: Ничего, вот Кузя ко мне зашел.
 ШАГИН (с неизъяснимой нежностью к малознакомому ему Кузе): Кузя! Кузюничек... Кузюрушка у тебя там сидит... (пауза) С Кузенькой сидите!
 ФЛОРЕНСКИЙ (с раздражением): Да.

ШАГИН: А-а-а... Оттягиваетесь, значит, с Кузенькой, да! (Пауза. Неожиданно с надрывом) А сестренка! Сестренка-то где моя!

ФЛОРЕНСКИЙ (с некоторой неприязнью, догадывается, что имеется в виду его жена, Ольга Флоренская): Какая сестренка! ШАГИН: Одна сестренка у меня — Оленька...

ФЛОРЕНСКИЙ: Оля на работе.

ШАГИН: Оленька... [Глубоко, серьезно, как бы открывая важную тайну] Ведь она сестренка мне...

ФЛОРЕНСКИЙ: Митя, ты чего звонишь-то!

ШАГИН: Дык! Елы-палы... Дык! Елы-палы... Дык... Елы-палы!

ФЛОРЕНСКИЙ (с раздражением): Митя, ну хватит тебе.

ШАГИН (ласково, укоризненно): Шуренок, елки-палки... Дурилка ты...

ФЛОРЕНСКИЙ (с нескрываемым раздражением): Хватит!

ШАГИН (с надрывом): Шурка! Браток! Ведь ты браток мне, братушка! Как же так...! С братком своим!!

Флоренский в сердцах брякает трубку. Дмитрий Шагин глубоко удовлетворен разговором.

Как и всякий правифланговый массового молодежного движения, Дмитрий Шагин терпит конфликт с обществом.

Вообще, любой митек, как ни странно, редко бывает доволен обстоятельствами своей жизни. Про любой положительный факт в жизни других людей он ласково, но с большой горечью говорит: «А одним судьба — карамелька, а другим судьба — одни муки...», естественно, разумея мучеником себя.

Действительно, нельзя не предупредить, что участие в движении митьков причиняет подвижнику некоторые неудобства.

Рассудите сами: какой же выдержкой должна обладать жена митька, чтобы не пилить и не попрекать последнего в нежелании делать что-либо, точнее, самое неприятное заключается в том, что митек с готовностью берется за любое поручение, но обязательно саботирует их. На все упреки в свой адрес митек ангельски улыбается, слабо шепчет жене: «Сестренка! Сестренка ты моя!... Дык! Елки-палки! Дык!».

В ответ на самые сильные обвинения он резонно возражает: «Где же ты найдешь такое золото, как я, да еще чтобы что-нибудь делал!»

Иной раз митек берет на себя явно авантюрные обязательства, например, самому произвести ремонт комнаты. В этом случае он зовет себе на помощь несколько других митьков, и они устраивают в комнате, предназначенной для ремонта, запой — дабы оттянуться от судьбы, полной одними муками. Если настойчивые усилия многих людей действительно вынудят митька приступить к ремонту, комната в скором времени приобретет вид мрачного застенка; последующие усилия митька оказывают на комнату воздействие, аналогичные взрыву снаряда крупного калибра.

Дмитрий Шагин, прослушав этот очерк, был скорее обижен, чем польщен, и заявил, что хватит его с говном есть, елки-палки; не пора ли что-нибудь хорошее сказать, в частности, не



ПРОШУ ЖЕНУ Д. ШАГИНА УЧЕСТЬ, ЧТО ИМЕЕТСЯ В ВИДУ АБСТРАКТНЫЙ МИТЕК.



ПУШКИН, ЛЕРМОНТОВ, ДОСТОЕВСКИЙ И
МЬФРЕД ДЕ МЮССЕ (ГАД ПОВАДОЧНЫЙ)

забыть упомянуть про отличную живопись Д. Шагина. Что ж, так и напишем: у Дмитрия Шагина отличная живопись (что, собственно, не имеет никакого отношения к движению митьков), но и все вышеназванное рисует глубоко положительного героя, вставшего во главе движения отнюдь не бесознательно.

Движение митьков развивает и углубляет тип «симпатичного шалопака», а это, может быть, самый наш обаятельный национальный тип — кроме, разве, святого.

II

Нет, я не все сказал; мне что-то не по себе: боюсь, меня превратно поняли. Читают этот рассказ со смехом, хлопают себя по коленям (и ляжкам) — и все!

В рассказе нет никакой насмешки, а если есть усмешка — то добрая.

Но действительно, местами меня можно заподозрить в намерении съесть митьков с говном.

А вот что я теперь вам скажу: единственное, в чем можно обвинить митьков, так это в том, что они слишком щедро используют выразительные средства. Да в одном митьковском — «елы-палы» размах, градация — от легкой романтической грусти до душераздирающего бешенства — куда круче, чем в сборнике стихотворений любого из этих серьезных мерзавцев!

Недоброжелатели скажут, что все это наигранно!

Даже если все это так — а это не так, — то и в этом случае не столь уж виноват митек — художник поведения — в мире, где все — только разводы на покрывале Майи...

Движение митьков глубоко гуманистично. Вот, например, одно из любимых выражений Дмитрия Шагина: **СТОЯТЬ!** (имеется в виду стоять насмерть) — произносится естественно, очень экспрессивно и несколько зловеще — как правило, это, конечно, призыв поддержать митька в его начинаниях, но и сам Митька не знает, сколько раз мне помогло это зловещее «Стоять!»

Да, много раз бывало, что митек оказывается единственным, от кого добьешься сочувствия, оказываешься хоть на минуту оберегаемым ласковостью и энергичностью митька.

Лексикон, или, если так можно выразиться уже, слэнг митьков — изумительно красноречив и понятен каждому без предварительной подготовки. Взять, например, внешне мало-вразумительное слово: **ОППАНЬКИ!** — описание поразившего митька действия. Само действие не называется прямо, но слушатель без труда поймет, если уж не совсем тупой, что именно имеется в виду, например: «Наливаю я себе полный стакан «Земфиры», а Флоренчик, гад: оппаньки его!»

К слову пришлось: вот поучительный пример стоически эпикурейского восприятия действительности митьками. Обычно митек по недостатку средств употребляет самую отвратительную бормотуху, вроде той же «Земфиры». Тщательно ознакомившись с этикетом и с удовлетворением отметив, что бормотуха, конечно, выработана из лучших сортов винограда по

оригинальной технологии, он залпом выпивает стакан этого тошнотворного напитка и с радостным изумлением констатирует: «Вот это вино!»

Не следует думать, что митек не замечает настоящего качества этого вина: нет, но уж коли от него не уйдешь — надо не хаять, а радоваться ему. Сделайте комплимент самой некрасивой женщине — и она уже всегда будет привлекательнее.

Нет, это даже не стоически эпикурейское восприятие, это Макар Иванович Долгорукий и старец Зосима!

И еще, как добавил Генри Дэвид Торо: «Мудрецы всегда жили проще и скуднее, чем бедняки. Нельзя быть беспристрастным наблюдателем человеческой жизни иначе, как с позиций, которые бы называли бы добровольной бедностью. Живя в роскоши, ничего не создаешь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, литературе или искусстве!»

Читатель! Пусть тебе не импонирует движение митьков — но тут уж не до шутки, прислушайтесь к этим золотым словам!

Митькам этого доказывать не надо. Митек, конечно же, зарабатывает в месяц не более 70 рублей в своей котельной (сутки через семь), где пальцем о палец не ударяет, ибо он неприхотлив: он, например, может месяцами питаться только плавленными сырками, считая этот продукт вкусным, полезным и экономичным, не говоря уже о том, что его употребление не связано с затратой времени на приготовление.

Правда, я слышал об одном митьке, который затрачивал сравнительно долгое время на приготовление пищи, зато он это делал впрок, на месяц вперед. Этот митек покупал 3 килограмма зельца (копеек по 30 за килограмм), 4 буханки хлеба, две пачки маргарина для сытности, тщательно перемешивал эти продукты в тазу, варил и закатывал в десятилитровую бутылку. Блюдо потребляется в холодном или разогретом виде. Таким образом, питание на месяц обходилось в 3 рубля плюс большая экономия времени.

Полагаю, что за это одно только решение продовольственной проблемы этот митек должен занять достойное место в антологии кинизма.

Впрочем, признаюсь, что на халяву митек лопает, как Гаргантюа.

Одно только может выбить митька из седла: измена делу митьков, и даже не измена, а отказ кого-либо от почетного звания участника этого движения.

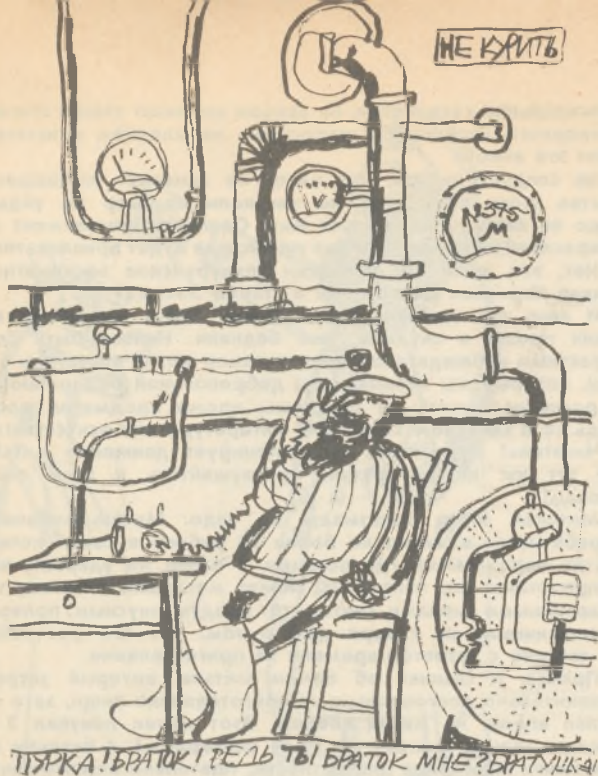
Мне хочется описать один такой драматический эпизод.

Как-то раз я, Дмитрий Шагин и Андрей Филипов (Фил) сидели и обсуждали вопросы художественной фотографии.

— А хорошо бы, — сказал Митька, — собрать всех нас, митьков, одеть в тельняшки (я так и не понял — почему в тельняшки) — и сфотографировать, чтобы все были — я, ты, Володька, ты, Фил...



А ФЛОРЕНЧИК, ГАД : ОППАНЬКИ !



— Но ведь я же не митек, — необдуманно заметил Фил. Митька выронил стакан, как громом пораженный:

— Как не митек!!!

Он не мог опомниться — так на любящего супруга действует известие об измене жены.

— Я браток тебе, браток, — попытался оправдаться Фил, видя, что натворил. Какое же это было слабое утешение! — любящего супруга больше бы утешили слова жены, что они «могут остаться друзьями».

— Так что же... я только один митек и все... Дык... Убил ты меня, Фил, убил! — вскричал Митька, рванув рубаху на груди.

— Нет, я, наверное, митек, — бледнея прошептал Фил.

Митька, не слушая оправданий, сполз с дивана на пол и, неподвижно глядя в одну точку, проговорил:

— А ведь это... ты, Мирон... Павла убил!

Фил в недоумении смотрел на Митьку. Тот продолжал:

— Откуда ты!... Да с чего ты взял! А... Ты фитилек-то... прикрути! Коптит! Вот такая вот чертовщина. Сам я Павла не видел. Но ты, Оксана... не надейся. Казак один... зарубил его! Шашкой, напополам!

Фил в глубоком раскаянии повернулся ко мне и взмолился:

— Ну, Володька, Володька! Скажи ему, что я митек!

Митька невидящим взглядом скользнул по нам и заявил:

— Володенька! Володенька, отзовись! А, дурилка картонная, баба-то, она сердцем видит...

— Митька, брось! — вмешался в разговор я. — Давай, я тебе налью.

— Митька... брат... помирает... — ответил Митька, — ухи... просит...

Затем Митька посмотрел на нас на миг прояснившимся взором и решительно рявкнул:

— Граждане бандиты! Вы окружены, выходи по одному и бросай оружие на снег! А мусорка вашего мне на съедение дашь! Дырку от бублика ты получишь, а не Шарапова.

Нет сил продолжать описание этой душераздирающей сцены.

Относительно Фила следует сказать, что впоследствии он вполне исправил свою, чтобы не выразиться хуже, оплошность, и даже внес значительный вклад в общую теорию движения митьков. Так, он разработал и мастерски исполняет ритуал приветствия митьков.

Вот краткое описание ритуала.

Один митек звонит другому и договаривается о немедленной встрече (митек с трудом может планировать свое время на более длительный срок). В назначенный час он входит в дом другого митька и начинает исполнение ритуала: вбежав и найдя глазами этого другого митька, он в невыразимом волнении широко раззевает рот, прислоняется к стене и медленно оседает на пол. Другой митек в это время хлопает себя по коленям, вздымает и бессильно опускает руки, отворачивается и бьет себя по голове, будто бы пытаясь отрезвиться от невероятного потресания.

После этого первый митек срывающимся голосом кричит: — Митька, браток! — и кидается в объятия другого митька,

однако, на пути как бы теряет ориентировку и, бесцельно хватая руками пространство, роняет расположенную в доме мебель. Другой митек закатывает глаза, и, обхватив голову руками, трясет ее с намерением избавиться от наваждения.

Хорошо, если при ритуале приветствия присутствуют статисты, которые должны хватать митьков за руки, не давая им обняться слишком быстро или совершить над собой смертоубийства.

Если статистов нет, первый митек продолжает шарить по комнате в поисках стоящего перед ним в столбняке второго митька (как ведьма вокруг Хомы Брута) до тех пор, пока не зацепится за труднопередвигаемый предмет и не рухнет на пол.

Эта часть ритуала выглядит особенно торжественно. В падении должен быть отчетливый оттенок отречения от встречи, митек должен этим падением выразить, что его нервная система не выдерживает перегрузки от волнительности встречи и отказывает.

Отмечу, что Фил с блеском и самопожертвованием исполняет этот финал ритуала — он падает с оглушительным грохотом (как говорят спортсмены — «не группируясь») и без видимого усилия может непоправимо сломать всю мебель, оказавшуюся в поле его действий.

Продолжая тему вклада Фила в движение митьков, опишу такой типичный случай.

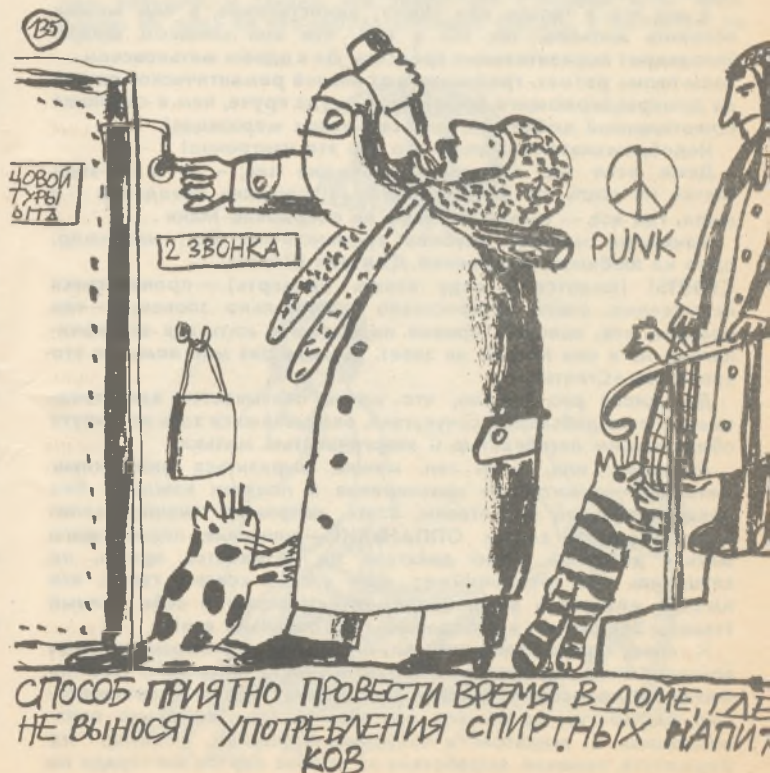
Рано утром после четырехдневного запоя в мастерской Флоренского Фил выходит в булочную за четвертушкой хлеба. Изнеможенный от запоя Флоренский берет с него несокрушимую клятву не приносить с собой ни капли спиртного; впрочем, денег у Фила нет и на маленькую кружку пива, так что это предупреждение звучит чисто умозрительно.

Через пятнадцать минут Фил звонит обратно. Открыв дверь и увидев характерное оживление на лице Фила, Флоренский чувствует неладное и устраивает последнему тщательный обыск, Фил охотно подчиняется этому, поднимает руки, поворачивается вокруг оси, предоставляя возможность проверить содержимое всех карманов, запясух и голеней сапог. Найдя четвертушку хлеба и убедаясь в отсутствии бутылки, Флоренский облегченно вздыхает, выпускает Фила в мастерскую и идет на кухню поставить чайник.

Вернувшись, он застаёт Фила перед несколькими фугасами «Агдама», причем один из них откупорен и почат. На лице Фила сияет ласковая укоризна: «Ну что ж ты сердишься, братушка! Сам видишь — теперь уж ничего не поделаешь...»

Отмечу, что способ приятно провести время в доме, где не выносят употребления спиртных напитков, был изобретен Дмитрием Шагиным. Способ прост и изящен.

Подойдя к двери этой («образцовой культуры быта») квартиры и позвонившись, Дмитрий Шагин выхватывает бутылку бормотухи и стремительно вливает ее в себя «винтом» за то время, пока хозяин образцовой квартиры идет открывать дверь.





Входящий Митька еще абсолютно трезв — видя это, хозяин радушно встречает его, усаживает за стол и потчует чаем.

Однако, не успев размешать сахар, Митька явственно косеет. На изумление хозяина он с гордостью отвечает:

— А вот так! Элементарно, Ватсон, дурилка картонная!

На упреки в свой адрес он отвечает ласковым смехом, а угрозы игнорирует.

Естественно, что этот изящный способ требует большой сноровки и силы духа.

Этот случай — типичный пример того, как митек достаёт людей.

ДОСТАТЬ (кого-либо) — означает довести человека до раздражения, негодования или белого каления (вышеприведенный разговор Д. Шагина с А. Флоренским — классический метод доставания). Как мы видим, доставанием митек преподносит человеку поучительный и запоминающийся урок выдержки, терпения и христианского смирения.

Впрочем, я только что допустил неточность — в отличие от других митьков, Дмитрий Шагин никогда не употребляет этой цитаты — «Элементарно, Ватсон!».

Этот факт очень важен, так как явственно доказывает, что движение митьков не предполагает обезлички и унификации выразительных средств: будучи митьком, ты вовсе не должен мимикрировать в Дмитрия Шагина.

Справедливости ради все же отмечу единственный замеченный мною случай стремления Митьки к внешней атрибутике и унификации. Дмитрий Шагин, естественно, носит бороду. Ласковые, но настойчивые уговоры Митьки не заставили некоторых его знакомых митьков (особенно тех, у кого борода не растёт) последовать его примеру. Не помогли и ссылки на то, что бороду носили такие высокочтимые митьками люди, как Пушкин, Лермонтов, Достоевский, а вот такой гад, как

Альфред де Мюссе — так тот, наоборот, бороды не носил.

Тогда Дмитрий Шагин после длительных изысканий обнаружил и распропагандировал следующее постановление из «Деяний столпаго собора» 1500 года:

«Творящий брадобритие ненави́дим от Бога, создавшего нас по Образу Своему. Аще кто бороду бреет и представится тако — не достоин над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нем в церковь приносить, с неверными да причется.»

Однако мне не хочется верить, что этот единственный пример тактики запугивания может привести к появлению деспотических черт в лице лидера движения.

К высоким достоинствам митьков следует отнести их беззаветную преданность движению. Митек не задумываясь будет поступать в ущерб себе, лишь бы не изменить своему кредо.

Например, представьте себе такую печальную умозрительную ситуацию: митек заводит себе любовницу и ложится с ней в постель (прошу жену Дмитрия Шагина учесть, что я имею в виду абстрактного митька).

Допустим, что застенчивый от природы митек просит любовницу потушить свет.

Нет ни малейшего сомнения, что свою просьбу он сформулирует так:

— Ты... фитилек-то... прикрути! Коптит!

Эту фразу он сопровождает отвратительными ужимками персонажа телефильма «Адъютант его превосходительства».

Нетрудно понять, что это высказывание вряд ли произведет благоприятное впечатление, если, конечно, она сама не является участницей движения митьков. В этом случае она мгновенно откликнется:

— А ведь это... ты, Мирон... Павла убил! — и так далее по сценарию телефильма.

Вот так-то. Опять повторю — если ты не митек, то фиг под него подделаешься. Да и себе дороже.

ИЛАН ПОЛОЦК

ЛЕГЕНДА О ПАУЛЮКЕ

Я не искусствовед. И не биограф — как создавать «жизнеописания», не знаю. Это значит, что я не смогу с исчерпывающей полнотой рассказать о жизни Яниса Паулюка — откуда он родом и где его корни. И не могу проанализировать его творчество: истоки, эволюцию, этапы, приемы... Пусть это делают другие, более отважные. Я не берусь. Потому что для меня он не просто человек или, скажем, просто художник. Я его воспринимаю как явление совершенно уникальное, неповторимое и дикое по своему отчаянному, подчеркнутому неумению и нежеланию вписываться в окружающую среду. В истэбл-лишмент, как принято говорить.

... Я представляю, что бы он сказал, доведись ему прочитать эти строчки. Только представляю: воспроизвести это на бумаге не было бы никакой возможности. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Прелесть общения с Паулюком заключалась и в том, что никогда нельзя было заранее предугадать, что он скажет или сделает.

И вот еще о чем я хочу сказать. Дурное это дело — писать вослед ушедшим, курить им фишиам и устраивать хороводы вокруг надгробных памятников. Так что, если кому-то захочется бросить в меня камень из-за Паулюка, уворачиваться я не буду.

Не корысти ради, а правды для скажу, что уже давно хотел сесть за эту работу. Но каждый раз коллеги делали большие глаза и опасливо прикладывали палец к губам — о Паулюке нельзя было и заикнуться. Ни одним словом. Он был... как бы это поточнее выразиться? Ну, те, кто не мог выезжать за границу, назывались «невыездные». Паулюк был неопишваемым. Во всех смыслах слова.

— Почему же нельзя о нем написать? — в свое время наивно удивлялся я.

— Ну, как ты не понимаешь? Вот поднимешь ты его, а он на другой день выйдет в центр города, сделает... что-нибудь неприличное, будет кричать какие-нибудь лозунги... совершенно непечатные.

— Не может быть, — твердо говорил я.

— Может, — с еще большей твердостью говорили мне весьма ответственные товарищи. — Может. Потому что это Паулюк.

Теперь он ничего не сделает. Потому что его уже нет. Он уже ничего не скажет, не выкрикнет и не хлестнет по полотну оранжевой кистью.

И о нем можно писать со смелостью и отвагой. Что я и хочу сделать.

Простите меня.

Наверное, тем, кто знал и любил Паулюка, я не сообщу ничего нового. Но я и не собираюсь ошеломлять их открытиями. Я хочу рассказать тем, кто его никогда не видел и не знал, что можно было так жить и так работать. Во все времена.

... Естественно, я никогда не был на Монмартре. Ни в этом веке, ни, тем паче, в прошлом. И, скорее всего, не буду. Но столько читал о нем, видел столько холстов и листов, сделанных теми, кто жил, прозябал, блистал и умирал там, что порой кажется — я знаю даже, какого фасона были башмаки у тех, кто организовывал Салон отверженных.

Попади Паулюк на Монмартр тех лет, на него никто бы не обратил внимания. Ну, драный свитер, поношенные брюки, растоптанные башмаки, вечно небрит и чуточку пьян — что тут особенного, тут все такие...

Кстати, о пьянстве Паулюка. Расхожим местом стало убеждение, что Паулюк пил. Не пропивался, головы не терял, но всегда был под крепким хмельком — и что с него взять, с пьяного Паулюка. Что греха таить, и я был в этом убежден, тем более, что при наших редких встречах он усиленно поддерживал это представление о себе — и разболтанностью движений, и несвязанностью речей. Но однажды это устоявшееся убеждение получило сильнейший удар, после чего я понял, каким был дураком; слабым утешением служило лишь то, что я был далеко не единственным, попавшимся на его удочку.

Надо сказать, что Паулюк весьма оригинально общался с людьми. С кем угодно. Встретив на улице малознакомого человека, он мог, схватив его за плечо, обрушиться фонтаном речей, из которого с трудом можно было выкабкаться; он то горячо говорил сам с собой, опровергая каких-то вчерашних собеседников, то тыкал слушателю в грудь твердым пальцем, настойчиво требуя от него какого-то ответа, на что тому оставалось лишь растерянно улыбаться, то тащил его в ближайшую забегаловку и бесцеремонно «раскалывал» его. В таком лихорадочном сумасшедшем общении могло пройти несколько часов, полдня. Но если на другой день недавний собеседник бросался к Паулюку с радостным воплем: «Янка! Привет! А помнишь...», то художник смотрел даже не на него, а сквозь и проходил мимо, не повернувшись. Обижаться на Паулюка было столь же бессмысленно, как сетовать на дождь.

Так вот, в один прекрасный день я и подвернулся ему под руку. Не помню уже, как и где мы до этого познакомились; скорее всего, суматошная, веселая и дурашливая богемная Рига шестидесятых годов свела нас за одним столиком в каком-то кафе, то ли в «Козе», то ли в «Дубле», ныне провалившемся в недра «Винного погреба» — и Паулюк как-то заметил меня. Словом, так мы с ним оказались за одним столиком в буфете Дома художников, где Паулюк тут же потребовал пару пива. Я беспрекословно принес и поставил бутылки на столик: не без опаски, ибо бурная темпераментная речь художника временами уже сбивалась на бессвязное бормотание. Внезапно наступившее молчание заставило меня



ФОТО ЮРИСА КРИВИНЬША

взглянуть на Паулюка. Он сидел, глядя на меня совершенно ясными, спокойными, хитро улыбающимися глазками.

— Ты вот, небось думаешь, — сказал он, — Паулюк — старый, пьяный дурак, несет чушь, так? Я знаю, знаю, — все так думают. А я не пьян. Нет, я совсем не пьян... Я все вижу и все понимаю. Но... так легче. Понимаешь? Пусть все думают — а, что там Паулюк... Но я все вижу и все понимаю.

Секунда — и передо мной снова сидел тот же Паулюк — с всклокоченными прядями нечесаных и нестриженных редееющих волос, со странной улыбкой, блуждающей на его изрытом глубокими морщинами лице.

— Хочешь мою мастерскую посмотреть? — неожиданно спросил он.

Мне было двадцать с чем-то лет, и наверно, я не смог сразу справиться со спазмом восторга, перехватившим мне горло.

Сегодня, когда в Дни искусства можно невозбранно погостить почти в любой мастерской, моя реакция была бы непонятной. Но тогда о мастерской Паулюка ходили легенды — как, впрочем, и о нем самом.

Вообще, все, что вы прочтете здесь — и в прямой речи Яниса Паулюка, и в моем изложении — может быть, не имеет ничего общего с подлинной жизнью художника. Может быть. Но за одно я ручаюсь — рассказы Паулюка запоминал почти дословно, и если за давностью времени

какие-то детали и выпали из памяти, то общий ход изложения, его интонацию, его оценки людей и событий я помню совершенно точно. Повторяю — я не удивлюсь, если кропотливый и дотошный исследователь разоблачит меня, доказав, что все было не так. Сам же я не хочу и не имею права этого делать, потому что легенда о Паулюке существовала неотъемлемо от него, и он сам ее творил, и верил в нее, и она была прекрасна.

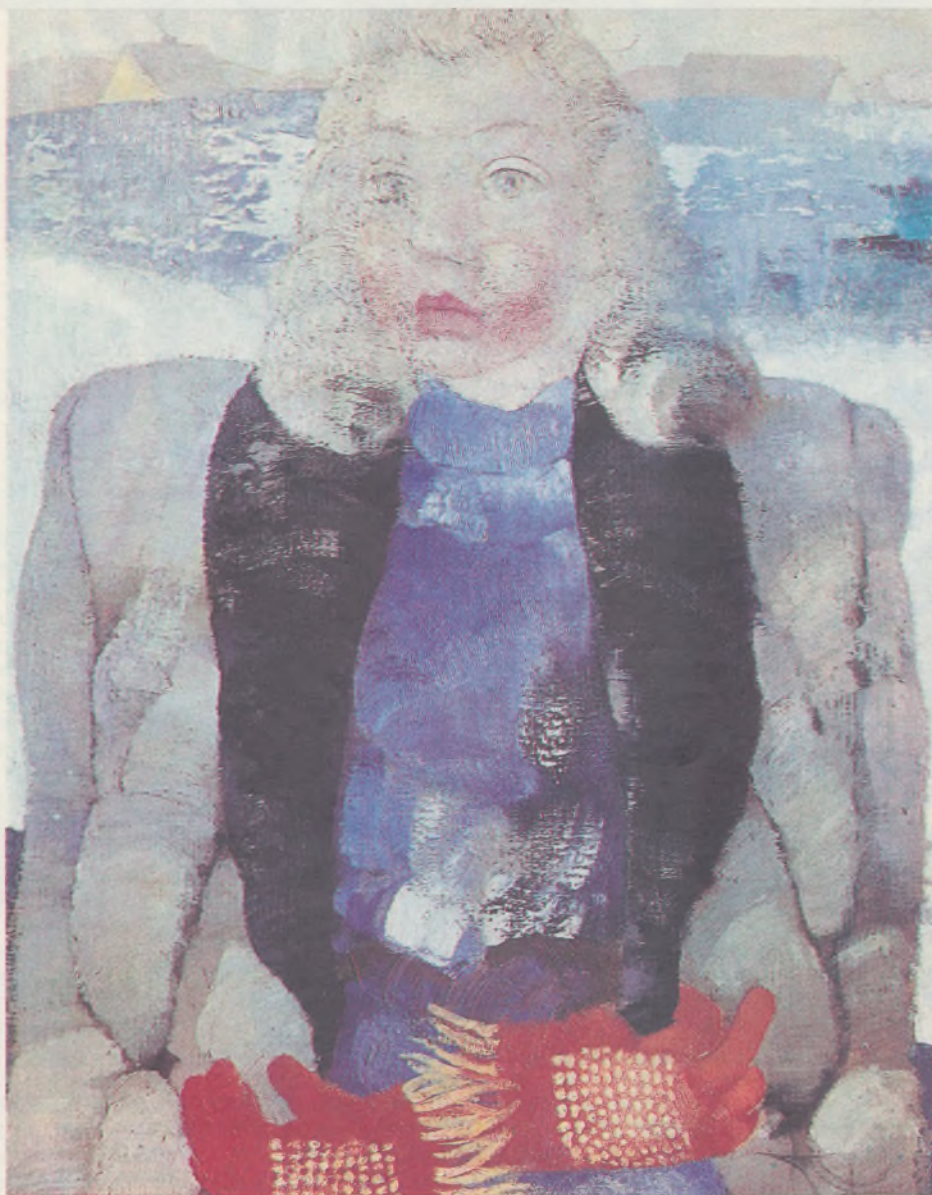
Одной из легенд, связанной с его мастерской, было ходившее из уст в уста повествование, как он спустил с лестницы делегацию западных немцев, притопавших к нему по лестнице, чтобы купить его картины.

— Так было? — спросил я его, когда мы карабкались к нему на пятый этаж.

Не оборачиваясь, он что-то пробурчал в ответ, и мне показалось, что я услышал слова: «Так им и надо, тевтонам...»

Я не собираюсь приукрашивать его облик и со всей откровенностью скажу, что Паулюк был весьма далек от представлений о гигиене, по-моему, эти проблемы его вообще не волновали... Нечто подобное я ожидал увидеть и в мастерской. Но, остановившись на пороге, я стянул ботинки, заляпанные осенней грязью и острожно вошел в носках в помещение, на полу которого, казалось, можно было обедать. Мастерская сияла хирургической чистотой. За штабелями картин стояла аккуратно убранный раскладушка. На специальной подставке лежали

ФЕЛИЦИТА В КРАСНЫХ ПЕРЧАТКАХ



ФЕЛИЦИТА В ПЕСТРОМ ПЛАТЬЕ



ФЕЛИЦИТА В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

чистенькие, вымытые шпатели и кисти. По ранжиру висели палитры. И — картины, картины, картины... Паулюк усадил меня на стул в дальнем конце мастерской и, балансируя на пальцах напряженных ног, стал вытаскивать и ставить передо мной полотна в рамах.

До сих пор не знаю, чем я сподобился. Это было так же необъяснимо, как почти все, что делал Паулюк. День этот остался в памяти — да простится мне этот «высокий стиль» — как одно из самых сильных художественных переживаний.

Картины он вытаскивал из груд и снимал со стеллажей, нимало не заботясь о хронологической последовательности. Из спокойного коричневатого полумрака натюрмортов и портретов словно кисти старых голландских мастеров я окунался в буйство кричащих ярких красок, которые Паулюк в яростном неистовстве хлестал на полотно с налитых кистей. Дети под цветущими яблонями, женщины, обнаженные цветущие женщины на пляже, на чистом золотом пляже, из-под ног которых убежала вода, еще не знающая сточных вод; зеленые стеклянные шары, пляшущие в рыбацких сетях, взаперемешку с блистающими серебряными потоками рыб — той салаки, от которой пахнет

свежим огурцом, и можете мне поверить, что я ощущал этот запах.

Вдруг Паулюк всхлипнул и заплакал, вытаскивая со стеллажа очередную картину. Я дернулся на стуле, но что-то удержало меня; я понимал, что должен лишь сидеть, молчать, слушать и смотреть, открыв глаза и по возможности закрыв рот.

— Фелицита, моя Фелицита, — сморкаясь и глотая слезы, бормотал Паулюк, ставя на мольберт портрет прелестной молодой женщины в тяжелом «рембрантовском» берете, пухлыми губами и шальными черными глазами. — Вот она, моя Фелицита. Я дал этот портрет на выставку, а они сказали, что это портрет шлюхи! Они сами... Дальше он начал произносить совершенно непечатные тексты, но я был с ним полностью согласен.

Не было ни одного человека, с кем я говорил о Паулюке и который не признал бы его дарования — от сравнения с Пикассо нашего времени до сказанных сквозь зубы слов, что «да, он в самом деле талантлив». Несмотря на всю мою тогдашнюю неопытность, у меня хватало сообразительности не вдаваться в детали такого отношения к Паулюку, в причины его молчаливого, но стой-

кого общественного непризнания — я имею в виду официальные организации.

Но после того, как я побывал на его единственной, если не ошибаюсь, прижизненной выставке, никаких вопросов задавать больше и не требовалось. Под выставку было отведено небольшое здание музея в Майори. В день ее открытия скверик перед входом был густо заполнен народом. Здесь были осанистые искусствоведы из Москвы и Ленинграда и даже, ходили слухи, художники из Владивостока. Хотя, возможно, они просто отдыхали на взморье...

Были сказаны приличествующие случаю слова, разрезана ленточка, распахнуты двери. И... собравшиеся затоптались на пороге. Они не могли пройти сквозь кордон оторопевших официальных лиц, которые были в страшном смущении: то ли поспешно захлопывать двери, то ли проследовать внутрь помещения, сделав вид, что ничего не произошло. Но поступить так было довольно трудно, потому что по толпе уже прошел веселый слух о лихой ночной вылазке художника.

Результатом ее был огромный, торжествующий и радостный зад капальницы, возлежавший на пляже спиной к зрителям — это полотно гостеприимно встречало входивших.

Выставочная комиссия — дело было где-то в начале шестидесятых годов, — отобрала для экспозиции далеко не те работы, которые сам художник хотел показать зрителям, и когда экспозиция была готова к показу, в ночь перед открытием Паулюк забрался в помещение музея и снял часть картин, повесив на их место те, которые ему нравились.

Скандал был первостатейный. Но что было делать? Закрытие только что открывшейся выставки вызвало бы еще больший шум — это было понятно и в те, не очень ласковые к искусству времена.

— Он хулиган, он самый настоящий хулиган! — с гневом и болью говорил мне тогда один крупный художник, ныне почивший в бозе. — Вы не представляете, что он вытворяет, этот ваш Паулюк!

Паулюк был не мой, а скорее их, Союза художников, но я с интересом ждал продолжения тирады и поэтому лишь сочувственно кивал головой.

— Я не могу вам даже передать, что он выкрикивал в центре города в пьяном виде. Достаточно сказать, что нам его доставили из КГБ, где его хорошо знают. Товарищи из этой организации подошли к нему очень либерально, зная его невосдержанность и предоставили нам самим с ним разбираться. Конечно, его надо было исключать из Союза художников. Но Паулюк так плакал, так падал на колени, что мы сжалились. Теперь-то я понимаю, что ему было нужно не наше содружество, а киоск. Ах, вы не понимаете, ... В киоске Союза

художников члены нашего творческого союза имеют право покупать краски, кисти, бумагу, холсты, и этого Паулюку терять не хотелось. Поэтому он и устроил весь этот спектакль на правлении.

— Но, может, он был искренен, — осторожно предположил я.

— Как же! — фыркнул мой собеседник. — Дождешься от него! Когда мы ему вынесли выговор с последним серьезным предупреждением, и он выходил из зала, то он подошел ко мне и шепотом сказал: «А все равно я гений, а ты дерьмо!» — И мой собеседник снова задохнулся от возмущения.

Не хочу причислять его к числу гонителей Паулюка, потому что именно он, скрепя сердце, сказал мне, что Паулюк в самом деле большой талант. И когда я спросил у него, правда ли, что Паулюку фонд Гугенхейма предлагал расписывать здания в Нью-Йорке, что тот отверг, собеседник не поднял на смех это бредовое предположение, а честно сказал, что не знает, но что это вполне могло быть, поскольку Паулюк продает или дарит свои картины только тем, кто ему нравится, отказываясь от тысяч и тысяч долларов.

Столь же любопытна и столь же загадочна, как и вся «легенда о Паулюке», история о том, как он вообще стал художником. Снова — рассказываю с его слов и тем самым отвергаю все попытки уличить меня в неточности. Не помню только, где и когда это было; скорее всего, во время одной из наших случайных встреч, после того, как мы десятки раз сталкивались нос к носу и он проходил, начисто не узнавая меня, пока, наконец, не ухватил за рукав и не потащил в какую-то рюмочную — вот ее душную обстановку я помню точно — где мы и примостились в углу за стопариками и бутербодами с изумительно вкусными свежими кильками. Да, так вот — о «начале его творческого пути».

— Был я в то время преуспевающим банковским чиновником, — говорил Паулюк, глотая хлеб с килечкой. — И было мне около тридцати или чуть больше. Или меньше — не важно. Важно, что в то время я уже крепко стоял на своих ногах. И был у меня старый товарищ, картины которого ты можешь увидеть в музее, — он презрительно хмыкнул, — нынешний академик Эдуард Калниньш. Рисовал он тогда во всю. И вот как-то, собираясь на какой-то бал, я в чем был, то есть в смокинге с гортензией в петлице, по дороге забежал к нему в мастерскую. Эдуард, как всегда, в заляпанном фартуке стоял у мольберта и что-то рисовал.

— Слушай, — спросил я его, — а с этого вообще можно жить?

— А ты сам попробуй, — сказал он мне.

— Давай попробую, — сказал я.

Я взял валявшийся в углу лишний фартук, подвязался



ПОРТРЕТ К. УБАНСА



ПОРТОВЫЕ ПАРНИ И ДЕВУШКИ



В ДОЖДЬ 1945—46

МИР ПЛАНЕТ



ДЕТСКИЙ САД КОЛХОЗА «ЗЕМГАЛЕ»



МИР



ЖИВОПИСЕЦ (АВТОПОРТРЕТ)

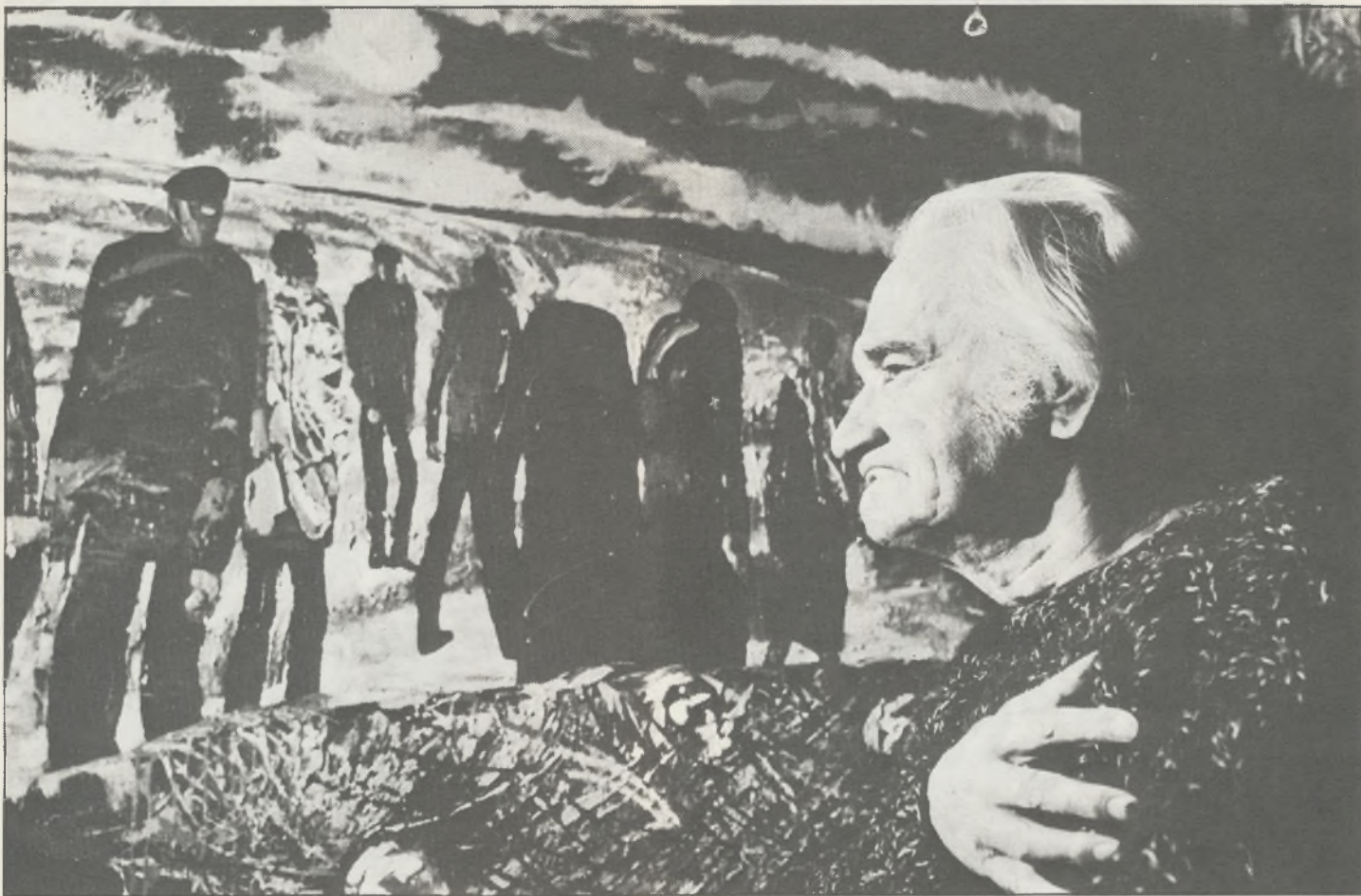


ФОТО ЮРИСА КРИВИНЬША

и встал к мольберту. И вот уже тридцать лет стою за ним.

Красивый рассказ. Смахивает на судьбу Гогена. Но почему, черт возьми, подумал я, два больших художника не могли прийти к искусству одним и тем же путем?

Тут Паулюк неожиданно вскипел. Он взволнованно размахивал руками — и я осторожно отодвинул подальше рюмку — и кричал о какой-то утке, которую он никогда не простит Академии художеств. Выяснилось, что поработав с Калниньшем и прикипев всей душой к новому делу, Янис Паулюк решил получить систематическое художественное образование и пошел сдавать экзамены в Академию художеств. И... провалился. На утке. Оказывается, ему досталось на экзамене нарисовать утку. Не знаю уж, что он там изобразил, но профессорам его видение водоплавающей птицы как-то не понравилось, и этого он не мог им простить и тридцать лет спустя. Он долго еще кричал, что и тогда, и теперь, он любую утку, с перьями или общипанную, нарисует с закрытыми глазами, а они... и гнев его был свеж и чист.

... Одна из последних наших встреч состоялась в Управлении внутренних дел, и воспоминание о ней до сих пор заставляет сжимать сердце.

Паулюка обокрали. Кроме мастерской в Доме художника у него была еще одна, на улице Горького, где и хранился основной запас картин, еще с давних времен. Я думаю, что он относился к ним, как к своим детям, и расстаться с ними ему было так же тяжело, как матери отдать свое дитя в сиротский приют. И если уж он дарил или продавал картину, то должен был знать, что ребенок попадает в хорошие руки.

И вот эту его мастерскую обокрали. Утащили почти все картины. Мародеры знали, куда они идут и за чем.

Паулюк был умыт, побрит, причесан и на нем был почти новый костюм, который, очевидно, и заставлял его

сидеть неестественно прямо и неподвижно. На лице его были глубокая безнадежная печаль и какой-то детский страх перед этим учреждением, куда он пришел за помощью, но действия которого ему непонятны и пугающи; казалось, он был готов к тому, что сейчас его поведут в КПЗ, куда он покорно пойдет. Рядом с ним сидела милая молодая женщина, одна из тех, которые всегда были рядом с Паулюком; они следили, чтобы он вовремя ел, менял рубашки и спал у себя дома. Мы были немного знакомы, и она рассказала о происшедшей трагедии. Пока она говорила, Паулюк сидел непривычно тихий, кивал и время от времени вставлял односложные «Да... да... да».

Потеряв своих детей, он не знал, что ему делать и как, ради чего жить дальше.

В то время я много писал о милиции хвалебных материалов, и по сей причине ко мне тут хорошо относились. Я было рванулся куда-то бежать, кого-то просить, что-то делать, но спутница Паулюка мягко удержала меня, сказав, что ничего не надо, все меры уже приняты...

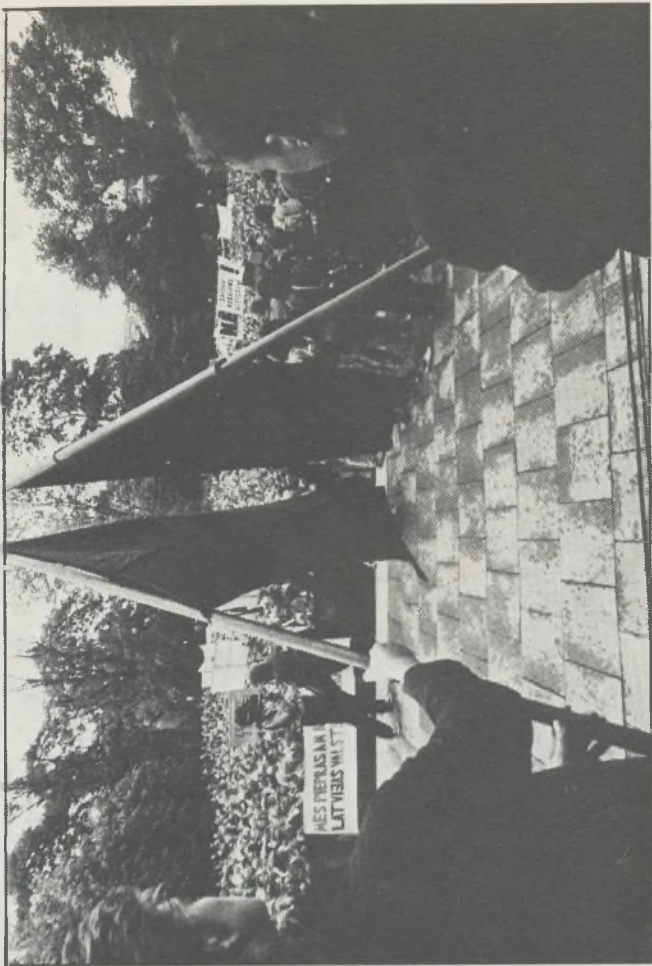
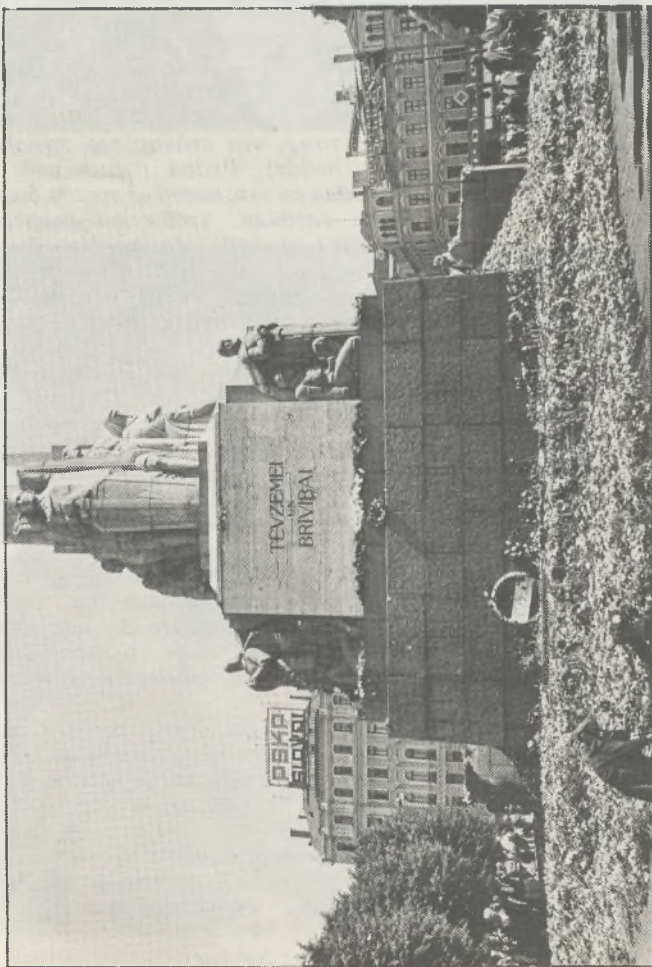
Всех картин найти, кажется, так и не удалось, но я не представляю, что кто-то может повесить на стену ворованную картину Паулюка, потому что на них надо смотреть сощурившись — так пронзителен, так ярко бьющий с полотна свет, чистота и сила которого не нуждаются в подписи.

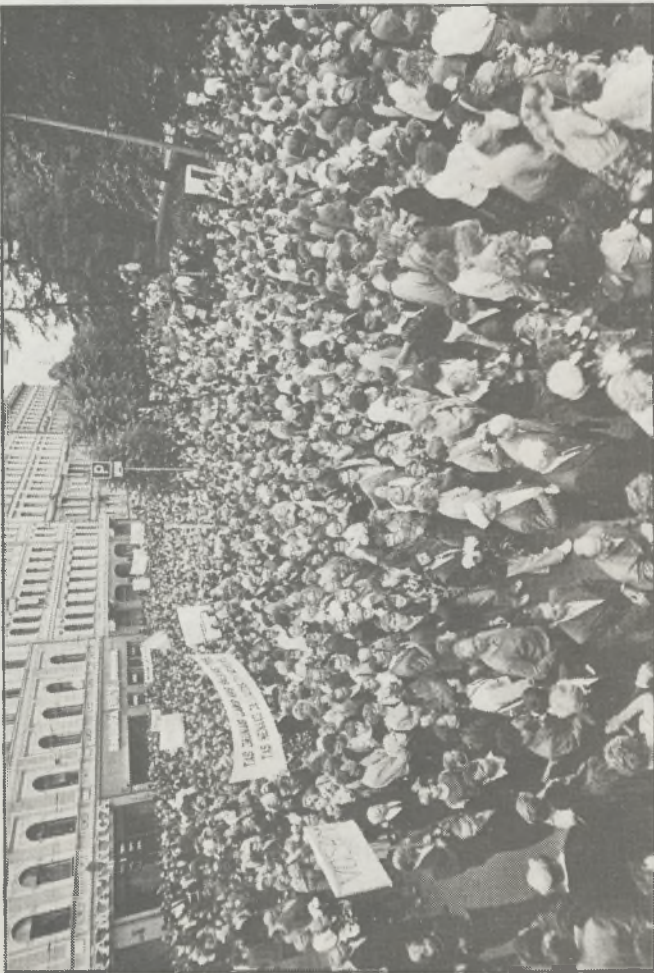
Больше мы с Паулюком так и не встречались. Сталкивались, бывало, на улице, но я его не останавливал, потому что видел — в данный момент я ему не нужен, и он меня не узнает или, в лучшем случае, примет за кого-то другого.

Я вспоминаю великого художника Яниса Паулюка с чувством радости, печали и ощущением того, что не все еще потеряно на земле, пока она дает возможность жить так, как жил Паулюк.

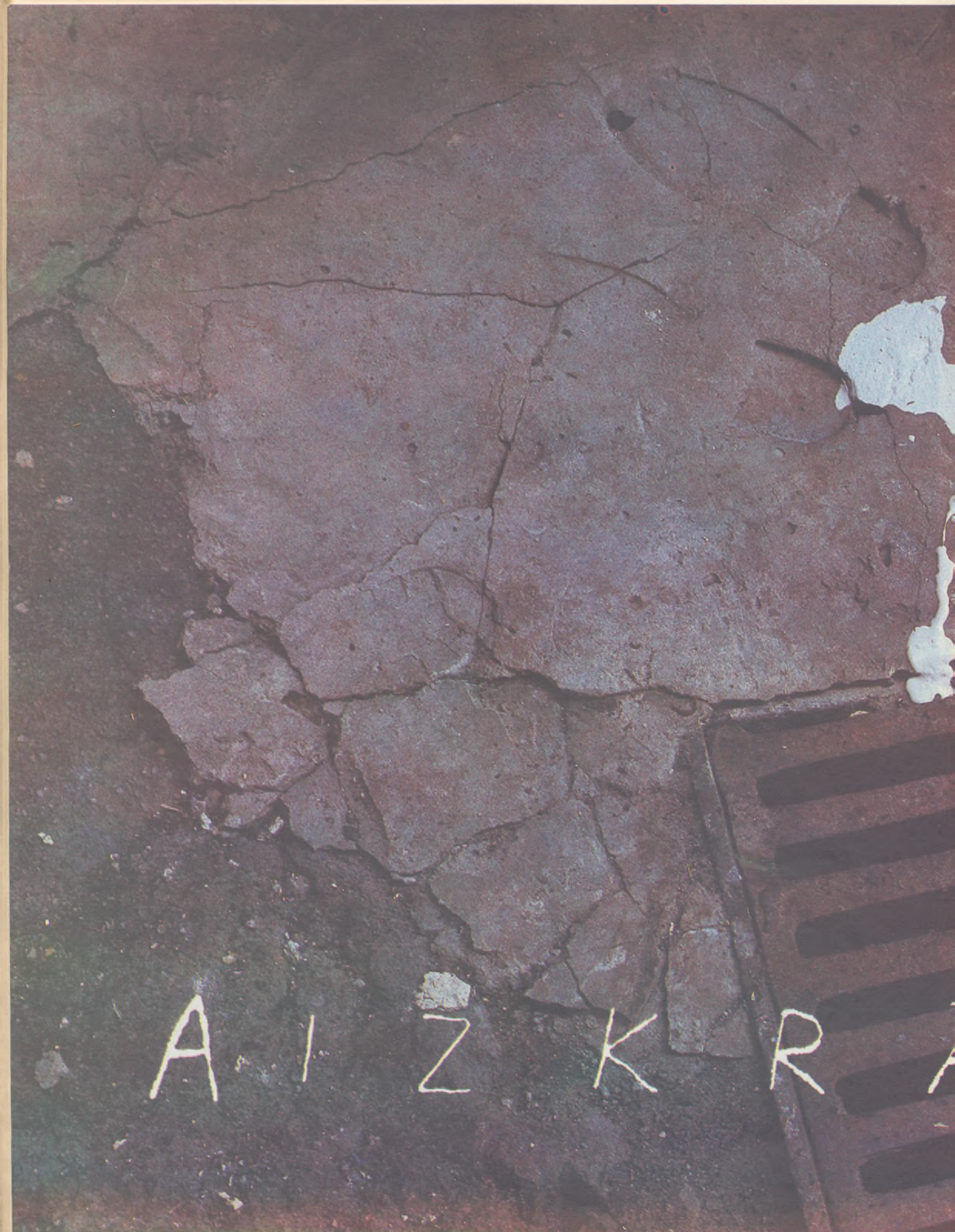
А с картин его льется все тот же свет.

Рига, 14 июня 1988 года. День памяти жертв сталинских репрессий.





ФОТОРЕПОРТАЖ ЮРИСА КРИВЫНЬША



ФОТОПЛАКАТ ИНДУЛИСА ГАЙЛАНСА «ЗАКРАСИМ?»

S O S I M ?

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мы долго утешали друг друга призывами типа «Ребята, давайте жить дружно!», но жить дружно как-то не получалось — многое мешало. Двойственность противостояния модернизма и традиционализма в замкнутом пространстве «искусства на территории СССР» создавала ситуацию взаимного недоверия и подозрительности.

Сегодня, в новой ситуации — и общественной, и художественной — призывы поменьше глазеть за кордон и развивать национальные традиции перестают особенно досажать. Художественная политика становится все более плюралистической даже в метрополии. Кроме того, новая для нас ситуация постмодернизма радикально изменяет отношения внутри искусства — взаимонеприятие «авангарда» и «реализма», не столь, может быть, заметное в Прибалтике, но весьма актуальное совсем недавно в остальных регионах, особенно в

Москве, постепенно уходит в прошлое. И, наконец, если уж пришло время, как говорят, для развития широких гуманитарных контактов на межгосударственном уровне и преодоления образа врага, то есть прямой смысл устанавливать такие прямые контакты между близкими соседями, минуя при этом сложные иерархические структуры управления искусством. Предлагаемое интервью художника Арсена Савадова есть некое отражение на нашем уровне общей транснациональной установки постмодернизма, и разговор между московским искусствоведом и армянином, живущим в Киеве, опубликованный рижским журналом, выходящим на латышском и русском языках, сможет стать своеобразной манифестацией новых установок и в искусстве и в диалогах культур.

Мой собеседник Арсен Савадов — на мой взгляд, один из самых активно рабо-

тающих и наиболее выраженных постмодернистов. Показательно, что он не имеет прямой связи и непосредственных контактов с авангардистскими кругами Москвы, или, как говорят, «Московским номом». Это очень характерная деталь — постмодернизм не продолжает генетически модернизм, по крайней мере у нас, а возникает подобно гомункулусу в колбе. Картина Арсена «Печаль Клеопатры» (написанная в соавторстве с А. Сенченко) демонстрировалась на Всесоюзной выставке произведений молодых художников «Молодость страны», а затем была продана через международный Худсалон Министерства культуры СССР известному коллекционеру Оливаресу, который, в свою очередь, продал ее на ФИАКе — одном из крупнейших аукционов во Франции.

АНДРЕЙ КОВАЛЕВ

РАЗГОВОР С ХУДОЖНИКОМ АРСЕНОМ САВАДОВЫМ О КЛЕОПАТРЕ



«ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ СЕЗОН»

ФОТО Л. МЕЛИХОВА

Андрей Ковалев: Арсен, должен тебе сообщить, что твоя «Клеопатра» произвела настоящий фурор на выставке в Манеже; тут же возникло порядочное количество всякого рода мнений, споров, многие просто не поняли, к чему это все. Кроме того, «Клеопатра» вошла в число наиболее ругаемых академической критикой работ, что тоже есть знак неординарности твоего опуса. Я, признаться, нахожусь в некотором недоумении, ибо традиционно воспитанные искусствоведы привыкли искать в изучаемых произведениях какие-то крючочки, на которые они могли бы вешать свои анализы и концепции. Ты же, похоже, не оставил никаких «вводных» для искусствоведческих концепций. Да, кстати, допускаешь ли ты вообще какую-либо возможность для конкретной интерпретации?

Арсен: Конечно, я даже думаю, что такие интерпретации возможны и со временем появятся.

А. К.: Заведомо рискуя оказаться в дурацком положении, я все же хочу тебя спросить: почему все-таки «Печаль Клеопатры», что ты этим хотел сказать?

А. С.: «Триумф Клеопатры» — это было бы дико. А моя

работа о другом, да и не в ней дело. В «Клеопатре» нет героизма, нет эпатажа. И печали нет никакой. И название — каприз и явление конкретного — тоже каприз.

А. К.: А почему формат такой большой, мог бы ты ее сделать поменьше? (Прим.: 225×330 см)

А. С.: Нет, ну что ты!

А. К.: А побольше?

А. С.: Ну конечно, просто это самая большая стена в мастерской была.

А. К.: А зачем побольше?

А. С.: Чтобы больше пустоты было.

А. К.: Замечательно! А я-то думал, почему так растут размеры холстов, думал даже, что это новая форма эпатажа такая. Должен признаться в собственном промахе — в своей статье про выставку в «Огоньке» я в качестве наиболее выраженных примеров эпатажа приводил «Печаль Клеопатры». Готов к сатисфакции. И еще один дурацкий традиционный искусствоведческий вопрос: кого из художников, близких тебе, ты мог бы назвать, кто на тебя повлиял тем или иным образом?



А. С.: Я хочу раскрыть свое любопытное занятие, свое коварство, кощунство даже, можно сказать. Я люблю брать большие книги по истории искусств, большие такие альбомы, с хорошими репродукциями. Однажды я раскрыл один альбом, где разбиралась композиция «Крестного хода в Курской губернии», а у меня где-то на окраине подсознания была темка одна и мне не хватало чего-то, что бы меня рассмешило, или как-то ударило, или разозлило, не знаю даже, какие тут у меня эмоции. И вот еще один сюжет к картине, она будет называться либо «Паломничество в Вавилон», либо «Приближение к Вавилону». Никакого отношения к историзму это не имеет, ты за это не цепляйся. И чудом картина Репина мне помогла, я увидел свою как шестивие.

А. К.: *То есть ты воспринял некий пластический ход в «Крестном ходе в Курской губернии»?*

А. С.: Даже не пластический. Любую картину, если ты мыслишь ее как я, ты лишаешь смысла, и она обретает свой первоначальный пустотный смысл, не привязанный ни к какому крестному ходу. Она становится чистым источником. Но это кощунство, об этом говорить не стоит. Я тут собирался картину написать, и взять буквально волну из «Деятого вала» — правда, не успел. Меня отец преследует: боже, ты взял фигуру у Дюрера. Да никакого Дюрера нет, хотя она один в один. Это не интеллектуальный ход, мне он не нужен, я просто не помню, как мышцы таза рисуются.

А. К.: *У меня сложилось впечатление, что ты используешь историю искусства как какую-то каменоломню.*

А. С.: Во-первых, все это издается для меня, а во-вторых, тут важно, какими глазами смотришь на все это. Нигде ничего нельзя взять незаметно. Я знаю, где взяли гипера, где взяли новые дикие. Мы все больны искусством. Все мы знаем все тонкости, об этом даже говорить скучно, но кто тоньше ворует, тот и интереснее.

А. К.: *Кто глубже залезет?*

А. С.: Копните глубже, говорят нам, наткнетесь на кабель Киев — Сибирь — в Сибири месяц не будет света. Тут побеждает тот, кто свободнее.

А. К.: *Тогда такой вопрос: что тебе больше нравится, в смысле у кого ты больше любишь воровать?*

А. С.: Я бы сказал, что об источниках не спорят.

А. К.: *Хорошо сказано.*

А. С.: Я не могу сказать, кого я больше люблю, может, я больше люблю Феллини, чем всю историю искусств. Тут как когда проснешься.

А. К.: *Нет у тебя, значит, страсти? Такой одной, но пламенной?*

А. С.: Нет, я не сексуальный в плане живописи, нет.

А. К.: *Кто-то любит Рафаэля, кто-то Караваджо, кто-то Шишкина...*

А. С.: Тут, по-моему, все равно. Ну, кому-то нравится Дали, и он ворует у Дали, или он ворует у Шагала — это нелепо. Воровство идет общее, я прекрасно могу взять там, где они воруют. Но я иду к самому источнику воровства.

А. К.: *Где же этот источник?*

А. С.: Именно в воровстве и есть источник. Чем больше ты авантюрист, тем сильнее работа. И чем ты якобы честнее — тем хуже. Честность рождает самую противную черту художника — консерватизм. Потому что если ты честен, тебе кажется, что ты что-то своровал, и сворованное лучше, чем твое, но ты честный. Так что же лучше — быть честным или все-таки воровать? Вот те, кто с природы слишком много пишут, им кажется, что они очень честные, — это заблуждение.

А. К.: *Неужели для тебя нет никаких авторитетов? Как-то я в это не верю — сама раскованная маэстрия, с которой ты организовал огромный холст, говорит о противоположном.*

А. С.: Есть огромная масса людей: кто-то из них поклоняется содержанию, кто-то — форме, по-моему — это дико. Это как римский легион: у этого гриф — форма, у этого гриф — цвет, у этого гриф — еще что-нибудь, а у меня — вот это. И что? Тебе бы понравилось: все идут со своими грифами, а я вот так (маэстро демонстрирует фигуру).

А. К.: *Напиши картину на эту тему.*

А. С.: Не стоит. Кухню никто не хочет раскрывать, но это я честно. Главное, чтобы ты не свел это все к постмодернистскому ходу.

А. К.: *Ты что, не веришь в существование постмодернизма, или он тебе чужд?*

А. С.: Ну, все-таки нет. Мы живем во время постмодерна, и никуда от этого не денешься. Там есть и имена хорошие, Клементе и Куки. Но прокол постмодернизма в том, что они все-таки апеллировали к истории искусств.

А. К.: *А по-моему, ты рассуждаешь как нормальный среднестатистический постмодернист. И вообще, как ты себя соотносишь с тем, что происходит на Западе? С новыми дикими, например?*

А. С.: Новые дикие ближе всего стоят к поэтике, но их поэтика густо замешана на интеллектуализме. Для Феттингер суперобъективный образ — это мужчина с топором. Вроде уже и пластика свободна, вроде уже и душа раскрыта, вроде уже и примат образа, но появляется мужчина с топором — а это уже примат ума. Это я их идеально представляю, я к этому идеалу пришел сам, я понимаю, что они могли бы дать, но они-то выражают социальные статусы. Они и ограничены этим статусом, потому топор. Я вижу в них отказ, а как только появляется отказ — появляется негатив.

А. К.: *Это что-то новое, за это можно уцепиться в определениях постмодернизма, ведь почти вся культура модернизма XX века — культура педалированного новаторства, где «новой любой ценой» — главный эстетический критерий. Конец эпохи «великого отказа» — конец модернизма. Величие новой художественной эпохи, ознаменованной постмодернизмом — на мой взгляд, в принципиальной толерантности. Я одно время активно читал всякие журналы, пытаюсь понять, что же такое постмодернизм или неоекспрессионизм, но потом решил, что это не наш путь, надо самим выдумать постмодернизм, так же как русские футуристы выдумали свой футуризм по принципу «слышали звон, да не знали, где он». И здорово ведь получилось! Кстати, как, по-твоему, дело обстоит на нашей почве?*

А. С.: Отказ — это не культура. В нашей окраине проблема отказа еще не стоит, потому что отказываться еще не от чего. Импульс отказа присутствует вообще в социальной среде. Отказ идет не из художественной среды, а из социальной. Однажды один мой друг сказал: я больше ни одной книги не прочту, я уже давно перестал читать. Понимаешь, уже все воспринимается по-другому, любая вещь, любая навязываемая тебе конструкция лишает себя смысла. Чтение книг — это оттягивание разговора с самим собой. Либо ты становишься поэтом, либо ты вообще не говоришь.

А. К.: Похоже, что позиция художника по отношению к «не его» искусству круто изменилась, если модернист мог сказать, что, дескать, знать я вас всех не хочу, захочу — просто унитаз с подписью выставлю, как Дюшан. Они могли сойти с автострад и искать «нехсженных тропинок». Новый художник декларативно поставил себя прямо на оживленном перекрестке, но ведь ему неизбежно приходится как-то увертываться, защищаться, чтобы не быть раздавленным. Что ты думаешь по этому поводу?

А. С.: Фактически чем сильнее художник, тем он смешнее. Чем лучше у него накачана мускулатура, тем лучше он для тебя раскрывается как ничего. Его легче взять, с ним легче играть в теннис. И чем страннее художник, тем с ним сложнее. Самые некрасивые оказываются самыми мощными. И самые известные — ты с ними просто не разговариваешь, потому что они известные, и вдруг что-то тебя цепляет и ты пытаешься с ними найти контакт. Тот же Пикассо при всей своей силе для меня открывает такую девственность, такую целину. . . Ничего и никак нас с ним не связывает, какие-то духовные корни есть у всех, у тебя наверное полно, у меня полным-полно, массам мы доверяем больше, чем кому-нибудь другому. И вдруг он со всей своей силой оказывается для меня буквально исключением.

А. К.: Тут в последнее время вас всех обвиняют в непрофессионализме, что ты на это скажешь? Что ты думаешь вообще о профессионализме в искусстве?

А. С.: Это страшно сложный вопрос. У меня есть хороший ответ на него: профессионалом надо сначала стать, а потом забыть все это дело. Слова профессионал и художник пытаются объединить. Это пахнет туфтой, но об этом надо сказать. А кто устанавливает критерий профессионализма, непонятно. Академия художеств, наверное. Нет у нас среды, где художник рождается сразу, с культурой отношения к миру. Профессионализм — мое имущество, но я по отношению к нему свободен, я не привязан, и ты, если будешь свободен, профессиональное тебе никогда не наскучит. Преимущества свободы в том, что она все подает в свежайшем виде. Если художник привязан, он не мыслит, и к нему не приходят свежие идеи. У нас прежде всего навязывается

какое-то отношение к миру, причем суперпсевдоклассическое, потом человек, который эти средства имеет, может написать портрет, стул, — в общем, что-то супергармоничное, опять-таки навязанное откуда-то. Но надо быть и художником, а художник-то оказывается в стороне. И это — конфликт, и он всю жизнь пытается землю писать вместо зеленой — красной, как-то разорвать эти связи, создать себе свой образ. Это дико. Это проблема школы и проблема культуры. Единственное преимущество профессионализма в том, что он обогащает всего лишь палитру.

А. К.: Ты говорил о новой поэтике. Что это такое?

А. С.: Для меня поэтика в искусстве — это итог искусства. Если художник не поэт — он не художник, а исполнитель. Мы не можем раскрыть до конца новую поэтику, но позиция поэтизма — она всегда личная, всегда субъективная. Поэтизм — это единственная возможность для художника быть в состоянии откровения. А откровение несовместимо с заимствованиями. «Клеопатра» — это еще не поэтическая работа, это вещь инструментальная, потому что мы различаем в ней уровни. В поэтике все открыто. Ты можешь взять, если ты так мыслишь, но художник не оперирует ничем, кроме самого себя. Мы встречаемся с художником, но он не свободен. Если сердце чересчур открыто, оно тоже навязчиво. По ту сторону сердца — живописи эмоциональной, или разума — живописи концептуальной, — по ту сторону лежит свобода, где рождаются элементы новой поэтики, которыми эта свобода должна пользоваться как средством. И если ни разум, ни сердце не победят в работе — тогда будет откровение, и оно будет исключительно свободным. У меня это ощущение буквально маниакальное, если я этого в художнике не увижу, мне просто скучно. Меня больше интересует новый человек, чем новый художник. Субъективная поэзия — бесконечна, она непознаваема. Но она не несет в себе художественной традиции. Поэтика — вне всякой культуры. Это отсутствие всякой культуры, это прямой ход, и это очень кратковременно. Тебя хватит на год, на два, в этом состоянии невозможно писать, ты просто истощаешься. С нашим трехмерным сознанием в таком хаотическом состоянии находиться невозможно.

ВЯЧЕСЛАВ ДАВИДОВ

О ЧЕМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

Не страх, не испуг, а ужас гнал Дзидру все выше и выше по лестнице, пока она не очутилась на чердаке Рижского театра оперы и балета. Спрятавшись за широкой деревянной балкой, она прислушивалась к доносившимся снизу звукам. «Эти люди, наверное, ищут меня повсюду, — думала

она. — Если они придут сюда, я выброшусь в окно».

Так, притаившись, массажистка Латвийского академического театра оперы и балета Дзидра Куминя дожидалась глубокой ночи, чтобы незаметно выбраться на улицу.

«И зачем только я написала это письмо, — немного успокоившись, подумала она, — надо было просто пойти в Республиканский совет профсоюзов и спросить, как оплачивается труд медицинских работников в творческих учреждениях».

Дзидра не могла себе представить, ка-

кую бурю негодования вызовет у дирекции ее законное любопытство. Когда руководство театра узнало об этом, то сразу вынесло негласный вердикт: массажистка совершила тяжкий грех и должна понести суровое наказание.

Дважды Д. Куминю администрация увольняла в связи с якобы сокращением штатов и дважды решением народного суда Кировского района Риги она восстанавливалась на работе.

Видя такое упорство нежелательной для себя персоны, руководство нашло более решительный аргумент против Кумини. В один прекрасный день к себе в кабинет Дзидру вызвал директор В. Блумс и с отечески спокойной улыбкой объявил ее... сумасшедшей. Слово в подтверждение этих слов рядом с ним появились двое мужчин в белых халатах. Вот тогда-то, вырвавшись из директорского кабинета, Куминя и спряталась от преследователь на чердаке.

Но через несколько дней стены Рижского театра оперы и балета стали безмолвными свидетелями того, как крепкие санитары протаскивали Куминю через зрительный зал к выходу.

Около месяца врачи самым тщательным образом обследовали пациентку и, несмотря на «точный» директорский диагноз о помешательстве, были вынуждены признать Дзидру психически здоровой.

Тут, видимо, настала пора сделать небольшое отступление и объяснить, что автор этой статьи собирается познакомить читателя не с детективной историей, а с действительными событиями. И что именно этот случай, происшедший с Д. Куминей в 1984 году, наиболее ярко характеризует нравственную атмосферу, сложившуюся в Рижском театре, а также стиль взаимоотношений между руководством и подчиненными.

За несколько кварталов обходит сейчас Дзидра театр оперы и балета: стыд за людей, призванных «сеять разумное, доброе, вечное», заставляет ее делать это.

И если Куминю попытались отправить в сумасшедший дом, то распространителю билетов оперного театра Л. Балашовой было через некоторое время предъявлено обвинение в нарушении норм торговли, основанием которому послужил невероятный по своей абсурдности повод — отказ продать свой личный билет на концерт Ю. Антонова, билет, который к тому же был куплен ею в кассе филармонии и не имел никакого отношения к месту ее работы. И тем не менее Л. Балашова получает за это выговор, законность которого к тому же подтверждается решением районного суда.

Вот уже больше года пытается Балашова выиграть судебный процесс с дирекцией театра. Уже истек срок действия вынесенного ей выговора, но она продолжает отстаивать свое честное имя, по-прежнему веря, что любое и маленькое и большое зло должно быть наказано. Но что может поделаться в лабиринтах юридической казуистики человек, впервые столкнувшийся с действием законов на практике, не знающий элементарных правил проведения судебного заседания? Только надежда, что там, «наверху», правильно и по справедливости рассудят, руководила Балашовой в ее тяжбе с руководством театра. Именно это чувство побудило ее еще до выговора встать на путь борьбы с теми недостатками, с которыми она столкнулась в театре.

Но главное же, конечно, не в этих двух частных случаях, происшедших с Куминей и Балашовой, случаях совершенно далеких от искусства, а в том, как идет творческий процесс в театре, как управляют этим процессом те, кто отвечает не только за судьбы двух технических работников, но за жизнь всего театра. Существует ли вокруг театра оперы и балета, присущий ему одному не только круг почитателей и поклонников, но и некая притягательная сила, которая влечет к себе и неискушенного зрителя.

Конечно, рижская опера не избежала участи многих музыкальных театров страны. Интерес к этому виду искусства сегодня значительно иссяк и вряд ли винить тут можно зрительское невежество, отсутствие тяги к прекрасному. Ведь для того, чтобы костер мания, он должен пылать, а не дымить. О том, что творческий огонь в рижском театре оперы и балета стал не только затухать, но и грозить полным исчезновением, свидетельствует и то беспокойство, которое стало выражать по этому поводу общественность республики. Появились публикации в прессе, письма в советские и партийные органы, в которых высказывались замечания о репертуарной политике, о художественном уровне спектаклей, об организационных вопросах. И прежде всего тревогу забили те, кто работает в театре.

«Мы, артисты балета Государственного академического театра оперы и балета Латвийской ССР, хотим поднять вопрос о положении дел в нашем коллективе. Не-профессионализм и некомпетентность руководящих лиц театра, бесконтрольность со стороны Министерства культуры республики, обусловленная отсутствием специалистов в области балета, завела решение наших внутренних проблем в тупик.

Постоянная нервозность, неуважение к коллективу со стороны руководства, невнимание к нашим бытовым условиям, плохая организация труда привели к тому, что ситуация в театре сложилась критическая» — вот так начинается письмо, опубликованное в июле прошлого года в газете «Советская Латвия».

Под этими словами поставила свои подписи половина балетной труппы. Среди них народные артисты ЛССР Л. Туисова и Г. Горбанев, заслуженные артисты республики а. Румянцев, И. Думпе, Л. Любченко и другие. Подписались люди, для которых невозможным стало спокойно смотреть, как латвийский балет сникает, теряет все лучшее, что когда-то он приобрел у таких корифеев хореографии, как Фокин, Федорова, Тангиева-Бирзниеце.

Если бы подобное письмо в газету послали один или два артиста, можно было бы предположить, что их ждала судьба Кумини или Балашовой, но половину балетной труппы не обвинишь в коллективном безумии и в сумасшедший дом не отправивши.

Мудрец сказал: ничему не удивляйся! То, что у творческого руля нередко стоят дилетанты или лица, которые лишь греются у очага культуры, человека искушенного вряд ли удивит. Но вот рядового зрителя, уверен, смутит. Ведь, если кто-то, не умея управлять, скажем, самолетом, садится за штурвал, то это, безусловно, грозит неминуемой катастрофой. А ведь управлять творческим процессом гораздо сложнее, чем какой-либо техникой.

Послевоенная история латвийского театра оперы и балета показала пример высшего пилотажа в решении профессиональ-

ных вопросов. После освобождения Риги от фашистской оккупации одной из самых главных задач творческого коллектива было восстановление балетной труппы, основательно поредевшей за время войны. И эта задача была блестяще решена. Латвийский балет под руководством главного балетмейстера Х. Тангиевой-Бирзниеце за несколько лет набирается творческих сил и в пятидесятых—начале шестидесятых годов привлекает к себе внимание всей страны. Именно тогда в театре дебютировал выпускник балетмейстерского отделения Института театрального искусства им. А. В. Луначарского Е. Чанга.

Балет А. Скулте «Сакта Свободы» в его постановке удостоивается Государственной премии СССР. В течение нескольких лет Е. Чанга возглавляет балет театра, ставя «Аленький цветочек» Р. Глизера, «Эсмеральду» Ч. Пуньи, «Корсар», «Жизель» А. Адана, «Ромео и Джульетту», «Золушку» С. Прокофьева...

Значительным событием музыкальной жизни явился поставленный Е. Чангой в 1960 году балет А. Хачатуряна «Спартак», признанный одним из лучших в стране. Это был яркий спектакль с оригинальной хореографией. Государственная премия ЛССР в том же году присуждается балету «Ригонда» в постановке Х. Тангиевой-Бирзниеце.

В общем это было время небывалого для театра духовного взлета, творческой активности, гражданской раскрепощенности. Кажется, так будет всегда. Но в начале шестидесятых годов уходит из жизни Х. Тангиева-Бирзниеце. И тогда же происходит довольно странное, необъяснимое нормальной логикой событие: по приказу директора В. Каулужа (именно он станет через несколько лет министром культуры) из театра увольняют Е. Чангу. Его увольняют по сокращению штатов в тот момент, когда он по приглашению Ереванского театра оперы и балета ставил там спектакли.

Невероятно, но талантливый балетмейстер оказался не нужен театру. Может быть, именно тогда и именно этим поступком было положено начало таким явлениям, как «некомпетентность» и «непрофессионализм», которые со временем стали фундаментом нового театра.

В 1968 году главным балетмейстером назначается А. Лемберг. Ему достается отличная высокопрофессиональная труппа, созданная его предшественниками на этом посту. Используя заложенный ранее творческий потенциал, латвийский балет под руководством нового балетмейстера какое-то время держался на завоеванных позициях. Но на новые высоты уже не поднимался. С того времени и до сего дня в театре не было осуществлено ни одной значительной балетной постановки, которая стала бы событием культурной жизни, была бы удостоена государственной премии.

До самой смерти Лемберга в 1985 году многие испытывали перед главным балетмейстером трепет. Его боялись и в то же время искренне восхищались его феноменальными способностями чувствовать человека, упреждать ход его мыслей и поступков. Нет! Он не был талантливым балетмейстером, но он был тонким психологом и умелым политиком. Он легко подчинял себе волю большого коллектива.

Соавторами многих его постановок можно по праву считать весь коллектив. Но это было сотворчество на уровне инициативы. Тот же, кто обнаруживал личный талант,

тот становился в глазах Лемберга неудобным человеком. Многие актеры были вынуждены уйти из театра как раз по этой причине. Они исчезли со сцены, унося с собой славу театра, опыт, традиции. Это такие мастера танца как И. Каруле, А. Драгоне, Т. Ершова, А. Мартынов, И. Гинтере...

Четкой репертуарной политике, которая отвечала бы творческим возможностям театра и постоянно растущим запросам зрителя, так должного внимания и не уделялось. Постановки балетмейстеров из других республик на рижской сцене постоянно срывались. Это при том, что на их создание тратились огромные средства. Зритель шел на эти спектакли и не понимал: куда и почему исчезал интересный балет.

Такова, например, судьба блестящего спектакля «Гаяне» в постановке Б. Эйфмана (1976), записанного телекомпанией США.

Удачные постановки приглашенных балетмейстеров Лемберг, по свидетельству самих же артистов, не выносил, как зубную боль.

Когда в начале семидесятых годов группа артистов балета открыто высказала ему свое недоверие, то с возмутителями спокойствия расправились в два счета. Их дальнейшее пребывание в театре стало невозможным. Тогда это робкое выступление было первым ударом в колокол тревоги, потонувшим в убаюкивающем перезвоне видимого благополучия.

В ту пору многим казалось, что повода для беспокойства нет, что возникаемые в коллективе диссонансы легко устранимы. Но болезнь творческого застоя постепенно поражала организм театра. И первые симптомы этой болезни стали заметны именно в балетной труппе.

Появление талантов, лидеров в театре никак не культивировалось, нужны были средние исполнители, на уровне — не хуже не лучше. Потому что все новое — тем более талантливое — ломало устоявшиеся, удобные стереотипы, заставляло усомниться в привычных авторитетах. Чтобы этого не допускать, нужно творческое затишье, на фоне которого и комариный писк казался львиным рыком. Когда-то ученики Рижской хореографической школы с душевным трепетом смотрели в театре все балеты, с глубоким почтением и восхищением внимали тем, кто танцует на сцене. Давно уже ни за кулисами, ни в зрительском зале не видно будущих танцоров. Значит, нет и тех, кто станет продолжателями лучших традиций рижского балета.

Кризис, застой коснулся всех сторон нашей жизни, в том числе и культурной. В творческий механизм театра словно попало инородное тело, которое неутомимо, бесстрастно выламывало одно за другим как важнейшие, так и второстепенные звенья, без которых влияние театра на культурную жизнь республики стало катастрофически падать.

Скорость этого падения приобрела геометрическую прогрессию, когда в театр пришел новый директор В. Блумс.

Не имея ни музыкального, ни театрального образования, он ознаменовал свое вступление в должность тем, что распорядился снять с афиши имя его художественного руководителя А. Вилломаниса. Тогда, о ком во время недавних московских гастролей на страницах газет и журналов

было сказано: «Большую роль в культуре театра играет главный дирижер Александр Вилломанис».

Почему же директор поступил таким образом? Может быть, существование в театре творческого лидера со своей программой, идеями не устраивало В. Блумса? Может быть, его голова была заполнена смелыми планами небывалого творческого взлета руководимого им коллектива, а их осуществлению мешал музыкант А. Вилломанис? Так или иначе, но что-то беспокоило нового руководителя в творческой деятельности этого человека. Может быть, то, что, став в 1975 году художественным руководителем и главным дирижером, тридцатидвухлетний А. Вилломанис ставил одну оперу за другой. При этом на афишах можно было увидеть и редкие названия: «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского, «Царь Эдип» И. Стравинского, «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока. Будучи высококонтантливым музыкантом, соответствующим всем требованиям, которые предъявляются к оперному дирижеру, Вилломанис вывел в середине семидесятых годов коллектив из острокризисного состояния. Он взял за правило отбирать для театра наиболее перспективных артистов, готовя их к работе уже со студенческой скамьи. Не поэтому ли рижский театр стал располагать блистательной группой творческой молодежи, среди которой около десяти лауреатов различных конкурсов.

Однако кое-кого «наверху» выводила из себя строптивость художественного лидера. Так, в свое время у Вилломаниса была твердая договоренность о работе над оперой «Илья Муромец» по пьесе Я. Райниса. Но со стороны Министерства культуры последовала рекомендация не ставить оперу, поскольку тема показалась кому-то подозрительной. Нечто похожее произошло с работой над оперой Пуччини «Девушка из Калифорнии». Для этой цели был даже приглашен режиссер из Ростова. Но неожиданно в декабре 1985 года на коллегии министр культуры В. Каупуж отменяет постановку новой оперы. Причина, которой он мотивировал своё решение, — ведь и Рейган из Калифорнии!

В. Блумс становится председателем художественного совета театра. Отныне не только хозяйственные, организационные бразды правления, но и творческие вопросы будут решаться при его активном участии. Вилломанис больше не художественный руководитель, но он еще главный дирижер, который все еще может влиять на решение творческих вопросов.

Однако, несмотря на его категорический протест, в театре появляется новый главный режиссер О. Шалконис. Непонятно, какие художественные достижения этого человека привлекли ответственных работников культуры, но их несколько не смутило отсутствие у нового режиссера самого главного — профессионализма. С первых же дней О. Шалконис прославился в коллективе фразой: «Ну, что вы ко мне лезете с этой музыкой! Я в ней ничего не понимаю!».

Вот так сознательно взлелеивались, культивировались некомпетентные кадры, с беспощадной методичностью заглушалось все истинно творческое и талантливое. Тогда уже не представилось особого труда избавиться от А. Вилломаниса как главного дирижера. В 1985 году приказом министра культуры В. Каупужа Вилломанис освобождается от должности за «серьезные упущения и неспособность организо-

вать и руководить творческим процессом театра».

А что же коллектив? Почему не отстоял, не помешал административному насилию? Наивный вопрос! Сверху указано — сделано! Кому хотелось биться о глухую стену? Да и было то время временем бездумного послушания и коллективного летаргического сна.

В перепалке амбиций и мнений дирекция театра вытаскивает из клубка организационных интриг оборванные нити «убедительных» доводов, будто приказ о снятии Вилломаниса основывается на решении художественного совета и партбюро. Вроде бы выходило, что в отношении бывшего главного дирижера все выглядело законно и демократично. Но, оказалось, что вопрос о снятии Вилломаниса на заседании худсовета даже не ставился. Собрание же партбюро, возглавляемое О. Шалконисом, проводилось без присутствия на нем коммуниста Вилломаниса.

— Сегодня у нас некому ставить оперу, — говорит певец С. Мартынов, — нет ни режиссера, ни дирижера. Одни еще не могут, а другим больше не дают. Удовлетворение я получаю только от гастролей, где чувствуется творческая атмосфера, достигающаяся честным отношением к труду. В нашем же театре происходят различные нарушения, которые остаются без внимания.

— Сейчас в театре, по существу, нет режиссера, — говорит заслуженный артист ЛССР А. Поляков, — и потому нередко случаи, когда мне приходится звонить, к примеру, солистке Э. Брахмане и договариваться с ней, что мы оба будем делать на сцене, куда пойдём в соответствующем эпизоде, чтобы не пройти мимо друг друга. Важно, чтобы оперный режиссер чувствовал музыку, знал ее тонкости профессионально. Только тогда каждая страница музыкального произведения будет раскрыта до мельчайших психологических подробностей.

Вот уже более двух лет прошло, как А. Вилломанис отстранен от должности. Приток свежих сил в театр, который шел при нем непрерывно, прекратился. Новый главный дирижер Л. Амолыш энтузиазма не у кого не вызывает. Сам же Вилломанис, пребывая в должности очередного дирижера, ведет свои старые спектакли из числа тех, которые дирекция еще не успела снять с репертуара.

Такой талантливый певец как С. Мартынов выходит на сцену раз в месяц и даже реже. А. Поляков, проработав в Большом Театре два года, спел там семьдесят спектаклей, а в рижской опере за это же время только тринадцать!

Спрашивается: может ли театр, находясь в дремотном состоянии, выполнять свое предназначение — возбуждать в человеке потребность общения с искусством?

— Входя в театр, не чувствуешь творческой атмосферы, — делится своей тревогой Народный артист СССР К. Зариньш. И потому у многих, кто здесь работает, нет почтения к этому дому. По тому-то так часто и нарушаются свойственные искусству закономерности. Это проявляется как внешне, так и в творческой, а точнее — нетворческой атмосфере.

Пытаясь докапаться до сути вещей, я задавал группе актеров вопрос. С каким ощущением они приходят в театр?

Никто не говорил о радости и трепетном волнении, о чувствах, которые казались

бы должен испытывать артист перед выходом на сцену. В настроении моих собеседников было больше подавленности и отчужденности. И это при том, все они по-настоящему преданы искусству. Для многих из них творческая работа в данном коллективе не имеет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. В театре даже нет портретов ни заслуженных, ни начинающих артистов, ни тех, кто работал там прежде. У театра отнята история. А тот, кто не дорожит своей историей, тот теряет свое лицо.

Однако вернемся к письму артистов балета. В начале 1986 года главным балетмейстером Рижского театра оперы и балета назначается Я. Панкрате.

«Проработав с большим успехом двадцать лет в рижской оперетте в качестве главного балетмейстера, — пишут артисты, — на новом месте Я. Панкрате всю свою деятельность свела к репетиционной работе и разговорам о продолжении традиций, оставленных А. Лембергом. За два сезона Я. Панкрате так и не проявила себя как балетмейстер профессиональной академической труппы. К разочарованию коллектива, она показала отсутствие элементарных знаний канонов классического танца. Самыми любимыми замечаниями Янины Дмитриевны стали: задрать выше ногу, больше накрутить пируэтов там, где этого не требуется».

Спустя два года главным балетмейстером был поставлен балет «По ком звонит колокол» по мотивам романов Э. Хемингуэя. Спектакль прошел, так и не вызвав общественного резонанса и особого зрительского интереса.

— Все в новом балете мимо цели, — считает искусствовед В. Прохорова, — все легковесно и нелепо. Как можно походя рассказывать о фашистском перевороте... Это какой-то игрушечный, опереточный фашизм!

— В Рижском театре сложилась обстановка, когда решение творческих задач некомпетентно, — высказывает свое мнение балетный критик, член побывавшей в театре комиссии Министерства культуры СССР Н. Садовская, — а в результате академический балет занимается нетворческой, непродуктивной работой, когда и в привычном кругу знакомых задач не выявляются новые и неожиданные стороны. Сейчас можно лишь констатировать тот факт, что как единый организм рижский балет перестал существовать, в своем движении он застыл на месте.

К мнению Садовской присоединяется другой специалист в области балета Виолета Майнице. Она, к примеру, говорит, что «сейчас в латвийском балете стерлось такое понятие, как амплуа, не всегда учитываются природные данные исполнителей. Например, З. Эрса по своим данным не соответствует образу лебедя в «Лебедином озере». Тем не менее она танцует эту партию».

Не разрушается ли тем самым нить, связывающая театр со зрителем, не рушится ли общение с подлинным искусством, суета вокруг которого становится не только бессмысленной, но и губительно вредной как для актера, так и для зрителя?

Где же найти тем, кто хочет работать по-новому, выход из творческого тупика? Где обрести защиту от геноцида некомпетентности и непрофессионализма? В театре ревниво охраняют свои владения. Но на-

дежда, она всегда надежда. И в эпоху гласности она становится верой. Именно это чувство заставило артистов балета обратиться к секретарю ЦК Компартии Латвии А. Горбунову, который пообещал им, что компетентная комиссия во всем разберется, побеседует с коллективом и прежде всего с теми, кто подписал письмо в газету.

В течение двух месяцев комиссия собиралась в театре, а когда пришла, то вместо того, чтобы разобраться по существу, свела до минимума количество опрашиваемых лиц. Из тех же, кто подписал письмо, приглашены были только около двенадцати человек.

На общем собрании балетной труппы, в котором должны были участвовать и журналисты, не допущенные В. Блумсом даже в помещение театра, члены комиссии устроили суд над мнением коллектива. Они судили не двух, не трех, даже не десять человек — половину балетной труппы, открыто заявившей о своем несогласии жить и работать по-старому. Машина административного давления заставила кого-то затаиться, иных отказаться от своей подписи. Что же делать? Долгое время люди приучали думать от сих до сих и ни шагу в сторону.

Член комиссии, заместитель министра культуры республики Г. Пелекайс, долгие годы работавший директором рижского театра оперетты и непосредственно руководивший тогда деятельностью Я. Панкрате до ухода ее в академический театр, объявил письмо демагогичным.

«Оно появилось, потому что происходит смена поколений, — поддержал его участвовавший в работе комиссии бывший министр культуры В. Каупуж. — Это не что иное, как возрастной конфликт. Артисты предпенсионного возраста хотят работать и дальше, но не у всех все получается. Поэтому не стоит обращать внимания на это письмо, ибо всегда были, есть и будут недовольные».

Вот так легко можно все упростить и свести желание коллектива работать по-новому к проявлению узкокорыстных интересов небольшой кучки демагогов.

Тут уместно спросить у В. Каупужа: почему сейчас в Латвии нет сколько-нибудь заметных балетмейстерских кадров? Да потому что их и не могло быть. Их подготовке не уделялось никакого внимания. Вспомним хотя бы то, что именно В. Каупуж лишил национальный балет талантливого балетмейстера Е. Чанги. В посланном недавно на имя Первого секретаря ЦК КПЛ Б. Пуго письме Е. Чанга написал: «Я не претендую ни на какую должность, я готов работать бесплатно, дайте мне только возможность применить мои знания, опыт в восстановлении доброго имени Латвийского балета». Но у Министерства культуры свои соображения на этот счет и оно отказалось от услуг Е. Чанги, как отказало оно в свое время лауреату Ленинской премии, Народному артисту СССР Марису Лиепе, или сняло с должности одного из ведущих дирижеров Латвии Александра Вилюманиса.

На каких же принципах, отвечающих духу сегодняшнего времени, проводилась работа комиссии?

— Наш вывод окончательный! Обсуждению и пересмотру не подлежит. Никаких дискуссий по якобы назревшим проблемам не будет! — таким было категоричное заявление членов комиссии.

— Нужно провести голосование: соответствует ли главный балетмейстер Я. Панкрате своей должности, — пробовали возражать артисты.

Но именно этого больше всего боялись и руководство театра, и комиссия.

— Ни голосования, ни анкетирования мы не позволим, — таков был окончательный ответ комиссии.

Тем не менее все дальнейшие бействия администрации не только не опровергаются, но и подтверждают правильность изложенных в письме артистов фактов.

Так появился приказ о выплате командировочных денег за последний год.

Некоторым категориям артистов повысили заработную плату, другим дали возможность танцевать в новом спектакле. А кому-то предложили весьма заманчивую заграничную поездку, которая превратилась в мощный рычаг управления коллективом в руках дирекции и испытанным способом борьбы с инакомыслящими. Хорошее поведение, то есть послушание и полное согласие служит некоторой гарантией поездки. Некоторой, потому, что иногда играет роль и необходимость в том или ином человеке, но это бывает редко. Зато чуть ли не вся дирекция театра представляет латвийский балет за рубежом. Пусть не поедет необходимый для проведения полноценного спектакля гример, звукооператор, концертмейстер... их место займет администрация, без которой рижские спектакли за границей потерпят, по-видимому, полный провал.

И становятся целью руководства театра отнюдь не заботы, направленные на то, чтобы как можно лучше, быстрее, организованнее решать тот или иной творческий вопрос, а стремления любой ценой поехать в заграничную командировку. Для чего оно нередко и дает согласие использовать в таких случаях самые непригодные для выступления сцены. Примером тому недавние гастроли в Швеции, где рижский балет танцевал «Лебединое озеро» в бывшем цирке. Достойное место для балета! А, может быть, по одежде и мерка? Ведь между уровнем духовности и полезности обществу существует прямая зависимость. Шведская критика высказала тогда негативную оценку в адрес гостей: «Костюмы не первой свежести, плохая фонограмма, не все увиденное в танцах прекрасно».

На проведенном недавно общем собрании подавляющее большинство коллектива театра проголосовало за резолюцию о некомпетентности как в творческих, так и в организационных вопросах директора В. Блумса, главного дирижера Л. Амолинша, главного режиссера О. Шалкониса.

Прав был английский мыслитель Джон Локк, когда еще сотни лет назад писал: «Никто не может жить в обществе под гнетом постоянного нерасположения и дурного мнения своих близких и тех, с кем общаешься...». Коллектив наконец-то сказал: хватит административной суеты, бюрократического самообслуживания, угнетения творческого духа. И это несмотря на то, что на пути его гражданского становления еще по-прежнему стоят заградительные препоны, установленные теми, кто привык к административно-командным методам управления, для кого мнение и желание коллектива лишь каприз.

ROCK IN THE USSR

ГЛАВА 5

«Где та молодая шпана,
Что сметёт нас
С лица Земли?»

(Группа «Аквариум», «Молодая шпана»)

В 1977-ом нагрянул панк-рок и овладел моими мыслями. Я почувствовал себя моложе, снова начал танцевать, но сознание при этом радикально раздвоилось, ибо в нашей музыке никакой «новой волны» и в помине не происходило.

В конце 70-х, как ни в чем не бывало, процветали hard rock, «бард-рок», art rock и fusion. Держались в моде клеши и ботинки на платформе. Это не очень стилизовало. Самым сильным впечатлением того времени были выступления трио Вячеслава Ганелина — «Братьев Маркс фри-джаза», как я назвал их в одной из статей. Тогда они находились в пике своей формы и исполняли самую страстную, саркастическую и изобретательную музыку в округе. Формально они были далеки от рока — не подключали электричества и не пели песен — но их концерты были куда веселее и опаснее для рассудка, чем выступления любого из тогдашних «электрических» составов.

На дежурный отчаянный вопрос — не слышали ли Вы про какую-нибудь сумасшедшую новую группу? — все отвечали отрицательно. «Что ты имеешь в виду?». «А зачем это?». Только знакомые эстонцы рассказывали нечто интригующее. Однако «Новая канализация» при пристальном рассмотрении оказалась очередным пародийным ансамблем с корнями в ресторане, а «настоящую вещь», «Пропеллер», удалось засечь лишь много позже.

Есть много разных причин тому, что «новая волна» — в отличие от, например, «прогрессивного рока» — долго не могла пробиться в СССР. Психологическая причина: будучи вечно третируемой падчерицей «большой» культуры, наша рок-культура всегда наивно и исподволь стремилась к «престижности» — будь то сложные музыкальные формы, виртуозная техника, литературность текстов или просто шикарные костюмы. «Сорванцовый», нарочито грязный пафос «новой волны» был чужд музыкантам: Джонни Роттен воспринял бы слово «хулиган» в свой адрес как комплимент, а наших рокеров без всяких поводов так величали все время, и они счастливы были бы от этой клички избавиться.

Далее, массовый вкус был целиком ориентирован на «диско»: подростки, еще недавно боготворившие Deep Purple, Slade и Sweet, теперь не могли жить без Boney M и Донны Саммер. Все, что они знали о панках, это то, что они «фашисты».

И это тоже важная причина: с самого начала панка наша пресса — в лице корреспондентов-международников — при-

няла его в штыки. Летом—осенью 77-го в газетах было опубликовано несколько гневных репортажей со смачным описанием неаппетитных манер панков и их возмутительных манер (одна из газет при этом сочувственно цитировала какую-то диатрибу из «Дейли Телеграф»...), смешно, но позиции были идентичны; проиллюстрированы материалы были фотографиями неких уродов со свастиками. В библиографии советских рок-публикаций значатся три статьи, посвященные «Секс Пистолз». Вот названия всех трех: «Как бороться с хулиганством»; «В коричневой аранжировке»; «Машина обмана». Попытки доказать, что панки — это не «Национальный фронт», подкрепленные ссылками на «Морнинг Стар» и цитатами из песен The Clash, не давали большого результата: имидж «наци-панков» был создан крепкий. А свастика в нашей стране, как вы сами понимаете, никак не может служить популярности — даже скандальной.

Однако, главная причина фиаско панк-рока мне видится в другом — в том «русском» понимании музыки, о котором я уже говорил, касаясь «Битлз». У нас нет традиций играть быстро, нет традиций играть грязно. Наверное, любовь к мелодии и чистому звуку заложена генетически. Чем еще можно объяснить неумную всенародную любовь к мизерной группе «Смоки», огромную популярность в конце 70-х «Иглз» и «Пинк Флойд» — и полное, тотальное неприятие «Sex Pistols» — хотя все знали это одиозное название. И «посвященные» коллекционеры, и сами рок-музыканты полностью разделяли эту позицию. Хорошую песню «Кого ты хотел удивить?» со словами: «можешь ходить, как запущенный сад / и можешь всё наголо сбрить. / И то, и другое я видел не раз»... Макаревич на концертах стал торжественно посвящать панкам. «Да видел ли ты у нас хоть одного панка?» — спросил я, возмущенный такой демагогией. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня очень выразительно. По-видимому, давая понять, что от панка это и слышит. Меня обвиняли в злостном снобизме, искренне восклицая: «Но ведь эта музыка не может нравиться!».

Очень часто западные журналисты спрашивают меня о советском панке. Когда я отвечаю: «Практически у нас нет панк-рока», они не верят и смотрят на меня так, будто я злостно утаиваю от них некое сокровище или просто боюсь разгласить «секретную» информацию. «Не может быть, мы слышали, что у вас есть такие группы — но они запрещены, конечно...». Хорошо, скажем так: у нас нет групп, которые играют панк-рок так, как его понимают на Западе. Есть ансамбли с «панковским» подходом к текстам, есть ансамбли, никогда не выходящие из своих подвалов — но они все играют «хэви метал», или электро-поп, или даже фолк-

рок — но вовсе не панк. К сожалению, он не развеян и до сих пор: я помню, как занервничали молодежные боссы, когда Билли Брегг на своем концерте в Ленинграде заявил, что начинал в панк-группе. Панк-рок у нас столь же экзотичен, как скажем, авокадо — все слышали название, но мало кто знает, что это такое на самом деле. Редкостные исключения — о них будет подробно рассказано — только подтверждают правила.

Однако, вернемся в Москву, в осень 1979 г. На полных парах готовился «Ногинск II». В этот раз все должно было быть совсем серьезно: шестнадцать групп из шести городов. Некоторые из них я никогда раньше не слышал, а просто выбрал интуитивно, основываясь на слухных слухах и рекомендациях. И объем работы, и ажиотаж были куда больше, чем год назад. Моей месячной зарплаты (130 рублей) не хватало на оплату междугородных телефонных переговоров. Катастрофическое положение было с билетами; набралась целая толстая папка заявок от почти всех главных газет и журналов, радио и ТВ с просьбами об аккредитации и предоставлении места в зале. В конце концов заявки не пригодились, и папка до сих пор валяется где-то у меня в стенном шкафу. Как память.

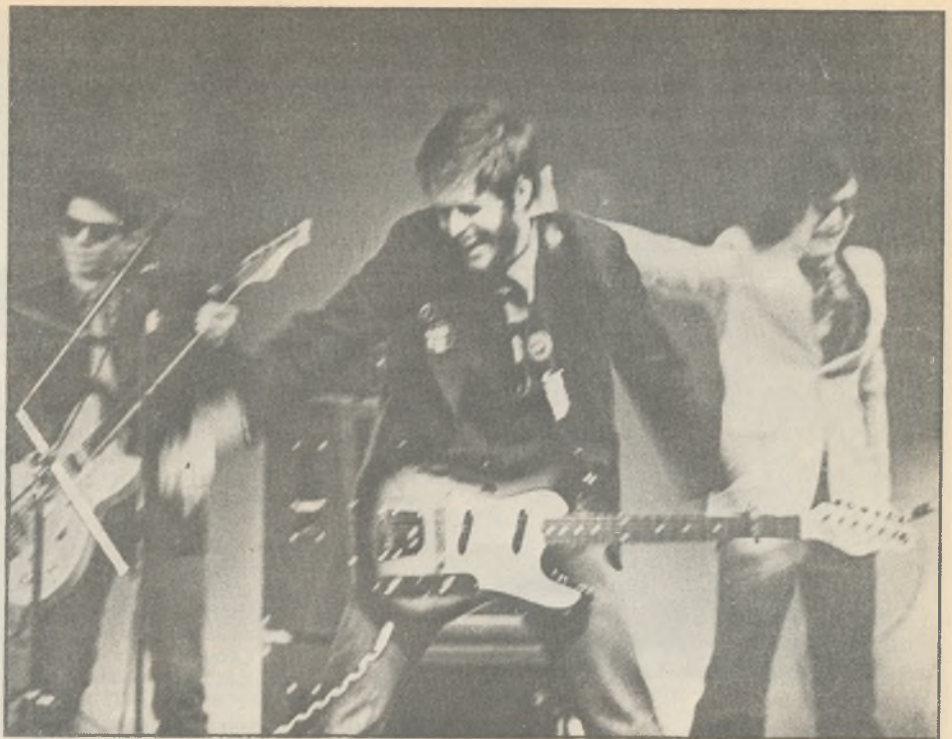
Фестиваль был отменен за два дня до начала. По неизвестной причине (скорее всего, из желания схлопотать лишнюю благодарность или просто «подстраховаться») ногинские компаньоны принесли всю фестивальную документацию первому секретарю Московского городского комитета комсомола, некоему Борцову. Ознакомившись со списком участников, Борцов выразил удивление: «Фестиваль вокально-инструментальных ансамблей? Что-то не знаю я ни одного из этих коллективов... Вот, скажем, «Кон-Тики» — откуда ансамбль?» — «Из I Медицинского института...». Немедленно последовал звонок в комитет комсомола института. Местные ребята то ли испугались голоса из заоблачных вышей, то ли в самом деле были не в курсе, — но помощнику Борцова они сообщили, что ничего о «Кон-Тики» не знают. «Вот видите, товарищи, — даже в родном институте о ваших ансамблях не слышали, а вы их на фестиваль! Нет, такого фестиваля я разрешить не могу.* Обидно было то, что его разрешения и не требовалось, необходимости идти и «согласовывать» что-либо не было никакой. Но раз уж шеф столичного комсомола запретил, пригородные активисты не могли ослушаться.

* Я не думаю, что первый секретарь был искренен в своей неосведомленности. В списке присутствовали достаточно известные группы, включая «Машину времени». По-видимому, это его и испугало, заставив разыграть маленький спектакль.

Приятно было узнать все это вечером по телефону. Часть групп удалось предупредить об отмене — буквально за считанные часы до отхода их поездов. Часть не удалось, они были уже в пути. Коллеги из журнала «Студенческий меридиан» помогли организовать «альтернативную» площадку: 300-местный конференц-зал на 20-м этаже издательства «Молодая гвардия». И эта траурная церемония по несбывшемуся фестивалю, приютившая проигравших и неудачников, неожиданно вылилась в один из лучших рок-конcertов, какие когда-либо знала Москва. Беспечная столица наконец-то увидела и услышала то, о чем и мечтать не хотела — советскую «новую волну». В лице «Аквариума» и «Sipoli».

История появления «Аквариума» на фестивале примерно такова: поскольку все более или менее известные ленинградские группы того времени («Земляне», «Россияне», «Аргonautы») были более или менее ужасны, пришлось спросить Андрея Макаревича, как эксперта по Ленинграду («Машина времени» ездила туда почти каждый месяц), нет ли там чего-нибудь малоизвестного и оригинального. «Пожалуй, только «Аквариум», — ответил он. — Это такие красивые акустические песни, с флейтой и виолончелью... Тексты интересные. Скорее философские». Не могу сказать, что рекомендация очень вдохновляла, но я позвонил лидеру «Аквариума» Борису Гребенщикову и спросил его прямо: «Что вы играете?» В ответ он начал перечислять фаворитов и направления и, в частности, упомянул Лу Риду. В первый раз в жизни я услышал имя Лу Риды из уст отечественного рок-музыканта. Это интриговало, и вопрос был решен: «Все в порядке, Борис, покупайте билеты...».

На сцену вышло шесть человек лет 25—26-ти: Боря с гитарой, ритм-секция, виолончелист, флейтист и фогоист. Одеты были они довольно мило и неряшливо — старые джинсы, майки, мятые пиджаки. На сцене держались свободно — хихикали, пританцовывали о чем-то болтали друг с другом. Когда певец, настроив гитару, надел узкие черные очки, зал затаил дыхание: все это становилось похожим на



«АКВАРИУМ» В ТБИЛИСИ '80

пресловутый «панк»... «Наш ансамбль состоит при Доме культуры металлического завода. Мы играем для рабочих. И им эта музыка нравится», — с этого предисловия началось выступление. Теперь можно было загигать пальцы и считать влияния: «разговорный» дилановский фолк-рок и грациозные песенки в духе Кэти Стивенса, изматывающий монотонный рок и психоделические Запапа-образные скетчи... Даже одна замечательная мелодичная средневековая баллада на оригинальные стихи Томаса Мэллори... Я сразу распознал братьев по духу: на сцене толпилась группа просвещенных рок-фанов, и это было прекрасно. Ибо их откровенная эклектика казалась намного веселее и позитивнее,

чем строгая глухота большинства рок-групп. «Аквариум» открывал новый мир массе людей (включая музыкантов), которая имела более чем смутные представления о той части рока, что находилась за пределами квадрата «Битлз» — «Rick Wakeman» — «Led Zeppelin» — «Chicago». Но еще важнее было другое — слова песен. С одной стороны, они были талантливы и поэтично написаны; не хуже, чем у Макаревича. Множество красивых образов, вроде:

«Мне кажется, я узнаю себя
В том мальчике, читающем стихи.
Он стрелки сжал рукой,
Чтоб не кончалась эта ночь,
И кровь течет с руки».

С другой — они были больше похожи именно на рок-лирику, так, как я ее понимал: приземленным, ироничным, с нормальными разговорными речевыми оборотами. Первое, что «Аквариум» спел, был «Блюз простого человека»:

«Вчера я шел домой,
Кругом была весня,
Его я встретил на углу
И в нем не понял ни хрена.
Спросил он — быть или не быть?
А я сказал: иди ты на!»

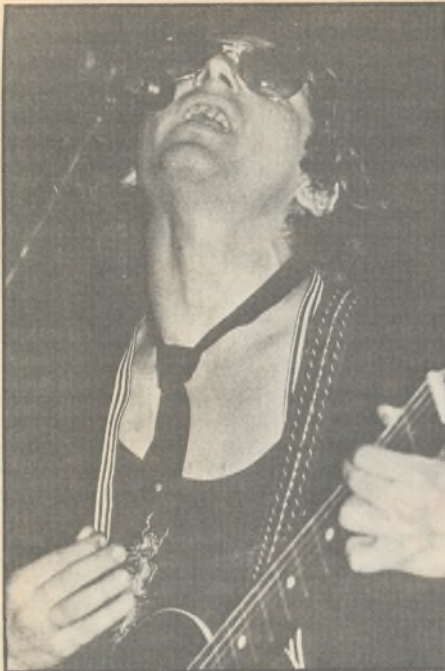
Ого! Грубоватый слэнг Гребенщикова улаждал слух, как хор ангелов. Наконец-то я слышал по-русски то, о чем так давно читал по-английски. Конечно, влияния — Дилана, Риды, Моррисона были вновь достаточно очевидны, но это были правильные влияния! «Аквариум» закончил выступления песней «Видел ли ты летающую тарелку?» с финальной фразой:

«Если б тарелкой был я,
То над Петрозаводском
Не стал бы летать никогда».

Так состоялся первый большой выход в люди «Аквариума» — группы, во многом «сделавшей» 80-е годы в советском роке. Я был счастлив, имея на руках новое дитя (скорее, «трудного подростка»). Зал был озадачен... Подошли неожиданно повеселевшие люди из Ногинска: «Если бы эта группа выступила на фестивале, у нас были бы большие неприятности...».



А. МАКАРЕВИЧ ПОЛУЧАЕТ «ГРАН-ПРИ» В ТБИЛИСИ '80 ИЗ РУК Ю. САУЛЬСКОГО



МАЙК НАУМЕНКО

еще более смутной, чем с «Аквариумом». Рижский приятель, светский бродяга и диск-жокей Карлис сказал: «Это хорошая группа. Просто отличная группа» — и не смог ничего объяснить конкретно. Выбор пал на «Sipoli» по двум причинам: во-первых, почти все латышские рок-группы («Кредо», «Ливы», «Инверсия» и другие) я послушал тем летом на фестивале в Лиенае, и они не произвели большого впечатления. Во-вторых, витал слух, что какая-то из песен «Sipoli» вызвала скандал на республиканском радио⁶, а это уже что-то обещало...

«Sipoli» сыграли короткую программу — три или четыре номера — и поставили зал на уши. Это был исключительно заводной ритм-энд-блюз — но с совершенно необычными вокальными аранжировками (два мужских голоса и один женский) и мелодическими линиями, которые больше напоминали Вайля или Орффа, чем негритянскую традицию. Их последний номер «Хэй-хэй блюз», пронесся над залом, как смерч. Стремительный, напряженный и какой-то по-сумасшедшему радостный, он прекрасно суммировал общее настроение и стал достойным финалом всего концерта. Нельзя сказать, что музыка «Sipoli» (кстати, это значит «луковицы» в переводе с латышского) имеет прямое отношение к «новой волне», но она была энергична и оригинальна, а эти качества — как в рекламе «джинсов» «Levi's» — «никогда не выходят из моды».

Когда я познакомился ближе с Мартиньшем Браунсом — маниакальным пианистом и певцом «Луковиц», то оказалось, что он закончил отделение композиции Латвийской консерватории и занимается, в основном, написанием музыки к театральным постановкам и фильмам. Это бы-

ло удивительно: как человек, получив академическое образование, смог остаться настоящим рокером — искренним и непосредственным... Единственное, в чем ему бесспорно помог диплом, это в «заминании» скандалов. Довольно часто эксцентричный и своенравный Браунс оказывался в конфликтных ситуациях и всякий раз фраза о том, что он выпускник консерватории и член Союза композиторов, оказывала магически успокаивающее воздействие на чиновников. «Довольно противный опыт», — признавался он потом.

Концерт не имел «отрицательных последствий», а в недалеком будущем уже светило новое, абсолютно грандиозное мероприятие.

Если спросить у нашего рок-народа, какое было главное событие в истории советского рока, девять из десяти наверняка ответят — фестиваль «Тбилиси-80». Скорее всего, это и в самом деле так. Это был самый большой и представительный из всех рок-фестивалей. В Тбилиси играли группы из филармоний, ресторанов, Домов культуры, и чистый «underground»; играли группы из Москвы и Ленинграда, Прибалтики, Украины, Кавказа и Средней Азии. (Не было Сибири). В какой-то из западных статей «Весенние ритмы» (официальное название фестиваля) сравнили с Вудстоком... Ничего похожего: фестиваль проходил девять дней в марте, в плохую погоду, в концертном зале Грузинской филармонии (около двух тысяч мест, кажется) и в присутствии жюри, которое оценивало выступления (представляете себе жюри в Вудстоке?). Была лишь одна черта сходства: оба фестиваля стали славными кульминациями породивших их движений — американской контркультуры и советского «неофициального рока» — и, одновременно, началом их коммерческого перерождения.

История тбилисского рок-фестиваля началась сентябрьским вечером 1979 года в московском ресторане «София». Это довольно скверный ресторан в самом центре, на площади Маяковского. Несмотря на плохую кухню, неинтересную публику и исключительно хамских, вечно пьяных и иногда дерущихся с клиентурой официантов, мы часто туда ходили. Там играл Леша Белов и остатки «Удачного приобретения». Итак, сидя за длинным столом в большой компании, мы разговаривали с Гайозом Канделаки, заместителем директора Грузинской филармонии. Галантный и авантюрный, как и большинство грузин, он сочетал эти качества с европейской деловитостью и целеустремленностью. Это он уже доказал в 1978-ом, когда отлично организовал Всесоюзный фестиваль джаза. Разговор шел в том духе, что дела в роке, похоже, идут в гору: филармонии заигрывают с любительскими группами, средства массовой информации рвутся на наш очередной фестиваль (это было еще до ноябрьского коллапса), «Машина времени» выступает в престижном зале Дома композиторов и так далее. Тогда Гайоз сказал: «Хотите, сделаем у нас большой фестиваль? Весной? Вы знаете, я больше люблю джаз, но если надо, можно пробовать и этот ваш рок-шмог...» Группа Белова тут же получила приглашение.

Надо знать грузин, чтобы не сразу принимать на веру все их предложения, особенно если они сделаны во время застолья. Но на следующий день мы продолжили переговоры в подмосковном ресторане «Салтыковка». Там играла новая группа

«Карнавал»⁷, и она была приглашена. (Правда, ресторанное начальство ее на фестиваль не отпустило). Мы договорились с Гайозом, что я возьму на себя заботы по вербовке артистов из Москвы, Ленинграда и Прибалтики, прессу и столичную часть жюри; и расстались до 7 марта, дня перед открытием фестиваля.

Итак, Тбилиси... Я процитирую лирический кусочек из собственной аннотации к двойному альбому, который был записан на фестивале и вышел на «Мелодии» спустя год: «Весна в Тбилиси выдалась холодной и пасмурной. Солнце радовало нечасто, временами моросил дождь, как бы довершая милую сердцу, но немного грустную картину города в межсезонье. Однако тихие умиротворенные улицы пронизывала некая вибрация. Эпицентром ее было круглое застекленное здание Большого концертного зала, у служебного входа которого весь день сновали «Волги» и «Жигули», высаживая и принимая людей, вызывавших интерес у прохожих. Артисты!.. Вечером вибрация достигла своего пика. Со всех сторон к зданию стекались возбужденные молодые люди. Некоторые настойчиво требовали «лишних сигареток» и, не получив таковых, принимались в отчаянии штурмовать хрупкие стеклянные двери. Около полуночи назлектризованная толпа выплескивалась из концертного зала на холодные мостовые уснувшего города и долго разбредалась по тихим улицам, освещая их желтыми нитями сигаретных огоньков. «В эти дни столица Советской Грузии охвачена музыкальной лихорадкой», — передавал из Тбилиси корреспондент ТАСС.

К этому можно добавить некоторые неизвестные вещи. Тбилиси — фантастически красивый и занятный город; все улицы там идут вверх (или вниз) и часто попадают здания настолько странные и экзотические, что трудно определить — были они построены пятьдесят или пятьсот лет тому назад. Масса автомобилей и исключительно анархичное уличное движение. Винные магазины открыты до полуночи... Мало общего с Россией. Это еще и очень богатый город. Тогда в моде в Грузии были длинные кожаные черные пальто, и все население Тбилиси — мужчины и женщины, композиторы и колхозники на рынке, ходили в таких пальто, рублей по тысяче штука. Женщины всегда в черных чулках. И самое главное — гостеприимство. Все невероятные легенды, которые вы могли слышать о грузинском радушии, наверное, правдивы. Но вот мало кто слышал о том, что за десять дней, проведенных в тот раз в Тбилиси, несмотря на фестивальную безотню и нервотрепку, я прибавил в весе ровно десять килограммов — притом, что ни разу не был в ресторане (рестораны в Тбилиси средние...). Каждую ночь после концерта хозяева паковали нас в машины и везли к кому-то в гости, где все продолжалось до 4—5 часов утра. Я с трудом просыпался в гостинице в час дня — в то время как Гайоз, Рудики, Бичи и другие местные друзья с утра были на работе. И так каждый день, каждую ночь. Выносливость «светских львов» Тбилиси абсолютно поразительна.

О музыке. Здесь веселья было меньше, чем на вечеринках. Концерты были не плохими, но довольно предсказуемыми.

⁶ Оба лидера этой группы — Александр Барыкин и Владимир Кузьмин — стали к середине 80-х большими поп-звездами и большими конкурентами.

⁷ Как впоследствии выяснилось, история приключилась с песней «Гарлем» на стихи Ленгстона Хьюза. Там была строчка о том, что «опять в магазине подорожали продукты». Мнительное местное руководство приняло все на свой счет.



Из восьми грузинских групп семь играли fusion или плохой хард-рок. Замечательное впечатление произвел только «Блиц». Несколько рок-ветеранов и лидеров местной богемы (художник, скульптор, каратист) собрались за две недели до фестиваля и слепили программу из лаконичных рок-песен, мелодически напоминавших «Битлз», но с легким кавказским колоритом и «ново-волновой» аранжировкой. Они были смешно одеты — золотые кафтаны, солдатские сапоги, лыжные шапки, — легко держались на сцене и на фоне общей серьезности выглядели неизгладимо свежо. «Мы до последнего дня не знали — пустят нас на фестиваль или нет», — сказал мне потом Валерий Кочаров, гитарист и певец «Блица», — и нам было почти все равно. На все эти призы и дипломы — наплевать. Мы просто хотели немножко повеселиться и чувствовали себя очень спокойно. В результате они получили «Приз публики»... Для меня «Блиц» стал единственным открытием на фестивале.*

Председателем жюри был незаменимый Юрий Саульский, а первое место разде-

* Валерий Кочаров продолжает работать скульптором и параллельно содержит «Блиц», через который прошло уже не менее двадцати музыкантов. Иногда они участвуют в профессиональных гастроях, исполняя исключительно «Битлз». В оперном театре им сшили костюмы — точные копии мундиров с обложки «Сержанта Пеппера». Я много раз уговаривал Кочарова отрепетировать собственные песни и включиться в движение «советского рока» — тем более, что в Грузии так до сих пор и не появилось ничего стоящего... Но он говорит, что больше всего любит петь «Битлз», а остальное его мало волнует. Вообще, Валерий — колоритнейшая фигура: это самый дикий из известных мне водителей и самый своенравно-независимый из музыкантов (может быть, потому что у него много денег). Он всерьез утверждает, что является потомком китайской императорской династии.

лили «Машина времени» и «Magnetic Band». Все было точно, как осенью 1987-го. Когда я сказал об этом совпадении Гунару Грапсу, он радостно ответил: «Так теперь будет на всех фестивалях в ближайшие пять лет». Это было похоже на правду и потому настраивало скорее на меланхолический лад, навевая очевидные мысли о «новом истеблишменте», застое и спаде. Тем более, что и Макаревич и Грапс сделали явный вираж в сторону массового вкуса. Из репертуара «Magnetic Band» окончательно исчезли экспериментальные фанки-номера, и теперь это был чистый ритм-энд-блюз плюс одна песенка реггей. «Машина времени» к восторгу публики исполнила «Новый поворот» — готовый ресторанный стандарт, лишенный — что редко для Макаревича — какого-либо «послания» (я долго смеялся, прочтя в какой-то западной статье — или это была толстая книга? — что «Новый поворот» является одной из наиболее смелых советских рок-песен, призывающих руководство к проведению нового курса...).

Второе место получил «Автограф» — совершенно новая московская группа, которую до фестиваля никто не слышал. Не слышал и я, хотя заверил организаторов, что приходил на репетиции и это было «колоссально». Особого риска здесь и в самом деле не было, поскольку «Автограф» был не чем иным, как новым детищем Александра Ситковецкого из развалившегося «Високосного лета». А он самый основательный и надежный из московских рокеров, и его состав репетировал взаперти уже полгода. Группа представила «технократический» вариант рока — безупречно сыгранный, грамотно скомпонованный и достаточно бесчувственный. Если у «Високосного лета» еще оставался элемент старого хард-рокового свинга, то у «Автографа» вся музыкальная структура была выстроена настолько строго, что лазеек для импровизации практически не оставалось. Слаженность и мощь

исполнителей производили впечатление, но можно было обратить внимание на забавные обстоятельства: после выступления группы ряд, где сидели члены жюри, аплодировал дольше, чем вся остальная часть аудитории. Обычно бывало совсем наоборот.

Остальные призы были отданы арт-роковым группам — «Диалогу» (Украина), «Лабиринту» (Грузия) и «Времени» (Горький), а также шоу «Интеграл» (Саратов), которые играли все — от кантри-музыки до «jazz rock» с блеском ресторанного варьете.

Что до фаворитов «новой волны», то они, как выяснилось, «пришли слишком рано» и остались, мягко говоря, непонятыми. «Sipoli» из-за неполадок с аппаратурой не смогли сыграть всю свою программу, а то, что успели — экспрессионистскую сюиту «Ода Скорпиону» — жюри квалифицировало как произведение интересное, но «антигуманистическое» (речь в «Оде» шла о ядерной войне и конце цивилизации, когда скорпионы и прочие «выживаемые» твари заменят на Земле человеческую расу). Неудача потрясла Мартинаша Браунса, что он пустился в отчаянный загул — в Тбилиси это нетрудно — и совершенно исчез из поля зрения. В кулуарах фестиваля ходила полуфантастическая ужасная история про какого-то буйного рок-музыканта, который разбудил поздно ночью всю гостиницу выстрелами из пистолета. Мало кто этому верил, считая все чисто грузинским вымыслом. На самом деле, это был Мартинаш — «Sipoli» использовали маленький стартовый пистолет в одной из своих песен.

(Продолжение следует)

ЯНИС МЕЛЛЕНС

ГДЕ ТЫ, КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ

Не так уж я стар, чтобы для меня совсем захлопнулась дверь в мир раздумий и переживаний молодежи, и не настолько я молод, чтобы мне вдруг стали чужды устремления людей среднего возраста — и к достижимым целям, и к таким, которые уже в третий раз объявляются идеалами далекого будущего. И потому я с интересом слежу за дискуссиями в печати о подлинном облике современной молодежи и об отношении тех, кто вступает в активный период своей жизни, к ценностной системе их родителей.

В разнообразии характерных проявлений этого отношения вносит свой акцент попытка противопоставить поколения в конфликте групп, представляющих разные общественные интересы и разную ориентацию. Но полезнее было бы сперва поискать ту историческую связь, ту ниточку общих духовных и материальных интересов, которая объединяет социально активные поколения в единое целое, называемое «общество». Ибо ясно одно. При всех спорах и столкновениях точек зрения спорщиков все же что-то объединяет. И прежде, чем провозглашать антагонизм поколений, не следует забывать наследственную взаимную связь форм деятельности и мышления. Связь, на которой основана наследственность в культурном процессе. Так как в сущности в центре вопроса — освоение, воспроизводство и совершенствование социального опыта — знаний, нравственных представлений, трудовых навыков, — то ближе всего к объективности стоит социологический подход. Его преимуществами проявляются в направлении познания от доступной эмпирическому наблюдению поверхностной стороны дела к выяснению истинных мотивов поведения людей и к пониманию и объяснению общественных процессов, взаимоотношений между целями общества и средствами, используемыми для их достижения. Но, считаясь с привычным для аудитории культурологическим подходом в решении этого вопроса, ограничимся публицистическим изложением своих размышлений, постараясь не погрешить при этом против данного принципа объективности.

Источник опыта каждого поколения и каждого конкретного человека — та культурная среда, которая его окружает и

воспитывает. Культура эпохи определяет человеку основные ориентации, ставит перед ним цели и «рекомендует» средства для достижения этих целей. Но обеспечение средств лишь частично входит в сферу компетенции культуры. Хотя развитие культуры общества (ценности, цели, идеалы) и экономики (средства) находится в тесной взаимосвязи, не исключается возможность противоречий между этими сферами. Практически они могут выражаться в несоответствии между пропагандируемым культурой материальным благополучием как идеальным состоянием общества будущего и невозможностью экономической системы обеспечить достижение этой цели средствами, положительно санкционированными культурой. Именно это несоответствие цели и средств — главная причина дисфункции отдельных социальных групп общества, в котором, невзирая на неоднородность социальной структуры и тенденции к расслоению, формально признается равноправие и равные для всех возможности. Если взглянуть с такой точки зрения — то возможна более точная оценка ориентации молодежи. И если речь идет о социальном портрете молодежи — то только ли ей свойственны стремление к потребительскому образу жизни, к благополучию, приобретенному незаконным образом?

Несомненно, судьбу и понимание ценностей поколения, пережившего войну, определил трагизм войны и ее тяжелые социальные последствия. Даже сегодняшняя молодежь находит на страницах истории тех лет, полных героизма и самопожертвования, достойные образцы для подражания. Но нельзя допустить, чтобы искаженная экстремальными условиями войны шкала гуманитарных ценностей (например, для достижения военной победы допускается физическое уничтожение людей, неизбежная гибель культурных ценностей и т. д.) становилась мериллом развития общества в мирное время. Но именно на крайности такого рода основывается концепция, свойственная послевоенному периоду, будто не только военные задачи, но и задачи социального и культурного строительства следует выполнять, подчиняясь приказу, а приказы не обсуждают. В результате этой крайности возникла тра-

гедия считать работу фронтом, труд — героизмом, рабочего — бойцом, а коллектив — подразделением. Подражание методам военного руководства, основанным на соблюдении строгой иерархии, в условиях мирного времени оказалось подходящим, чтобы карабкаться вверх по ступенькам бюрократической иерархии, но оно бессильно, когда приходится решать задачи, требующие специализированных знаний для управления общественными процессами. Потому не хочу присоединяться к мнению, будто порожденные войной страдания и бедность — источник только положительных нравственных качеств. Кажется, именно на таком одностороннем подходе основано противопоставление нравственного самосознания части того поколения «несерьезному» отношению к жизни молодежи.

В целях объективности вспомним, что история запечатлела те несколько лет до войны и после нее, когда историю творило поколение, названное военным. Вряд ли события времен культа личности протягивают наследственную нить в направлении только положительных нравственных принципов, ибо породили «персонажей», чьи успехи в обществе были оплачены ценой унижения человеческого достоинства их современников. Эти «персонажи» объявили себя хрустально прозрачным воплощением нравственных принципов, поскольку наслаждались благополучием, хотя в основе того благополучия — предательство, клевета на правду, карьеризм. Но, как говорится, когда цель достигнута, о средствах мало кто помнит. Отношение этих «персонажей» к основополагающим ценностям общества было потребительским в самом страшном значении этого слова. Как иначе назвать то, что беспринципные карьеристы и демагоги пытались сохранить свои социальные привилегии, уничтожая физические и духовно самых честных и одаренных людей своего времени? Это — потребительское отношение к главной ценности любого общества, единственному источнику всех прочих ценностей, — человеку.

В автобиографии Бориса Дьякова из романа, который после первой волны гласности пропал из библиотек, «Повесть о пережитом» есть такая картина. Ученый чистит сапоги лагерным конвоиром. Это

и исторический факт, и символ. Это — символ времени, когда для решения научных споров использовался такой аргумент как донос. Именно к тому времени будущие историки отнесут традицию делить правду на правду для служебного употребления и правду для масс. Это — потребительское отношение к главной ценности духовной культуры, к правде как первому условию содержательности преобразующей деятельности человека.

При этом преобразование общества на научной основе подменяет внешние подтверждения веры в идеологические догмы, а для создания иллюзии перспективы светлого будущего используются отдельные достижения социального развития или технического прогресса. В конце пятидесятых и начале шестидесятых это были: внедрение пластмассы в производство и быт, выход человека в космос, кампания по выращиванию кукурузы и т. п. В результате десятилетиями таившееся замалчивание истинных фактов общественного развития, их тенденциозная интерпретация приводит к нарушению целостности отношений между индивидом и обществом, обществом и природой, поскольку истина является условием этой целостности. Порождены уродливые формы общественно-исторического развития — лженаука и бюрократизм, необратимо разрушительные демографические и экологические процессы.

Именно такое отношение к культурному наследию прошлого и к истории порождает в конце пятидесятых и начале шестидесятых социальный волонтаризм, иллюзорно-восторженное искусство и ритуальные формы общественной активности — этих уродцев «культуры полуправды». Рождаются социальные мифы о немедленном воцарении светлого будущего, о неограниченных возможностях гармоничного развития каждой личности. Но экономика, не достигнув запланированных высот, не может потратить бюрократизацию хозяйственной деятельности, способствует ритуализации культурной жизни, процесс становления гармонично развитой личности, так и не начавшись, приводит к массовому алкоголизму и наркомании, этические идеалы отступают перед моралью, при которой все относительно... Расцветает коррупция как своего рода потребительское отношение к материальным и духовным ценностям общества.

Было бы странно, если бы все вышеперечисленные социальные беды бесследно испарились из голов сегодняшней молодежи. Подражание — главный принцип наследования социального опыта. В том числе и бюрократизма, коррупции, догматизма. Их воспроизводство осуществляется из поколения в поколение, пока они в качестве особых форм деятельности позволяют наслаждаться социальными привилегиями и материальным благополучием.

Стало быть, свойственная части молодежи тяга к потребительскому образу жизни не порождение лени или распущенности, как любят утверждать публицисты морализирующего толка, а закономерный результат. Идентификация материального благосостояния с нравственным идеалом человека на уровне обыденного сознания может подвешивать как серьезнейший дезориентирующий молодежь фактор, поскольку, невзирая на тенденции к расхождению, в общественной культуре пропагандируется равноправие социальных прав и возможностей. Но у кого на деле

больше шансов приблизиться к идеалу? У того, кого родители за ручку привели в аудиторию вуза, а потом — на работу в «приличную контору»? Или у того, кто вырос в детском доме? Для первого достаток, пусть и обеспеченный родителями, реальность, позволяющая блаженствовать в беспроблемном уюте, предаваясь развлечением и безделью, что нередко приводит к противозаконным поступкам. А для второго, если не единственно доступными, то наиболее эффективными средствами приближения к идеалу будущего окажутся законом не предусмотренные. Чем и объясняется тот «парадокс», что примерно две пятых малолетних преступников происходит из неполных семей и из семей алкоголиков, и столько же — из семей, которые принято называть благополучными.

Одна из причин поздней социальной зрелости молодежи — это универсальный характер системы неопротекционизма. Начать самостоятельную жизнь — значит отказаться от тех преимуществ, которые обеспечены под крылышком у родителей с их налаженными социальными связями. А возможность найти новые источники ресурсов весьма проблематична, если расширенное воспроизводство ресурсов в обществе не наблюдается или же оно незначительно. Количества имеющихся источников ресурсов конечно и они строго распределены между различными слоями общества и конкретными потребителями. Потому молодежь редко отказывается от завоеванных родителями возможностей. Не могу утверждать, что такой отказ зачеркнул бы возможность обеспечить свое дальнейшее существование, но он и не повысит уровня потребления в перспективе, а, значит, это шаг обратно на пути к идеалу благого избытка.

Было бы односторонне унаследованные от родителей неравные возможности социальных перспектив считать решающим фактором в формировании ориентации молодежи. Много правды и в популярном речении: труд — основа всего. Но если от абстракции труда малость опуститься пониже — к конкретным проявлениям общественного производства, то возникает сомнение, что там процветает уважение к труду. Одна из горьких истин, унаследованных от предков: с трудов праведных не наживешь палат каменных. И для молодежи это уже звучит как аксиома. Примером для подражания становится — целый список недозволенных приемов, начиная с мошеничества официантов и кончая масштабными деяниями на поле коррупции и утонченными методами бюрократического нажима. Обеспеченное таким путем благополучие ложится в основу новой морали нашего времени. Морали, которая вся сводится к поговорке: хочешь жить — умей вертеться.

Молодой человек относится к фразе «труд — смысл жизни», мягко говоря, скептически, если рабочий может сообщить о техническом узле, в который он много лет подряд ввинчивает все ту же пару винтиков, только то, что узел предназначен для оборудования, название и назначение которого — государственная тайна. Вряд ли молодой человек пожелает повторить жизненный путь родителей, который свелся к восьмичасовому стоянию у конвейера, кругу духовных интересов, очерченному газетой «Ригас Балсс» и невозможности праздничного настроения без бутылки. Другой вариант — шестнадцатичасовой рабочий день в сельском

хозяйстве (примерно эта цифра и получится, если к восьми часам к «законному» рабочему времени в колхозе или совхозе прибавить время, затраченное на подсобное хозяйство, чтобы обеспечить семье минимальное разнообразие рациона). Тем более, если перед глазами у молодого человека — стайка его ровесников, промышляющих фардой, проводящих время в самых дорогих увеселительных заведениях перед экранами видеомониторов, с изображением голливудских чудес.

Какой трудовой нравственности научит сознательный цинизм руководителей предприятий, штампующих брак? Ответ один: каков труд, такова и нравственность. Не верится, что положительных перемен следует ждать от идеи развивать формы индивидуального труда граждан в их свободное время. Скорее уж наоборот. Возможное прогрессивное развитие этих форм труда может оказаться еще одной угрозой для престижа работы на государственных предприятиях. Система ценностей предыдущего поколения развивалась в пределах принципов так называемого экономического общества (под экономическим надо понимать такое общество, деятельность которого направлена на удовлетворение своих технологических и биологических потребностей, на простое воспроизводство экономических ресурсов). В этом обществе главное — обеспечить жизненные потребности человека главным — жильем, продовольствием, одеждой, транспортными средствами и т. д. Одна из причин распустившегося махровым цветом культа вещей — неспособность людей переориентироваться на ценности иного уровня, своего рода «недостаток фантазии» в ситуации, когда оптимум экзистенциальных потребностей удовлетворен.

Ресурсы, накопленные предыдущими поколениями, дали возможность части двадцатилетних развивать свои интересы вне узких границ продиктованного экзистенциальными потребностями выбора «быть или не быть», где и само слово-то «выбор» имеет только метафизическое значение. Для них процесс удовлетворения экзистенциальных потребностей не проблема, а «естественный фон существования, необходимый для поиска смысла жизни». К примеру, в фильме Я. Подниекса «Легко ли быть молодым» хорошо показано, как разнообразны эти поиски. Но отобразены и такие молодые люди, родители которых позабылись, чтобы они с проблемами не сталкивались, что привело к утрате способности усматривать хоть какую проблему. Один из героев фильма так и утверждает: «У меня нет никаких проблем...», что свидетельствует о том, что под проблемой понимает он сам, и что понимали его воспитатели.

Свободного времени у этой части молодежи, по сравнению с предыдущими поколениями, намного больше. Но возможности содержательно заполнить его ничтожны: не хватает элементарного — подходящих помещений, инструментов и материалов для творческого труда, доброжелательности и заинтересованности ответственных работников.

Под лицемерной маской хранителя нравственной чистоты молодежи слишком часто скрывается болезненно подозрительный чиновник, он не в состоянии создать условия для проведения досуга соответственно культурным требованиям сегодняшнего дня, он не доверяет самостоятельной деятельности молодежи, считая ее причи-

ной пьянства и сексуальной распущенности. Хотя на самом деле все наоборот — именно ничтожные возможности воплотить свою творческую энергию в форме предметной деятельности делают жизнь молодежи бессодержательной, эмоционально бесцветной и монотонной, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Компенсаторную функцию в такой ситуации выполняют спиртное, наркотики и упрощенное понятие формы сексуальной эмансипации.

Я вовсе не претендую на всесторонний анализ причин той социальной болезни, что задело молодежь. Это — целая общность социальных, психологических, экономических, духовных связей. Но если уж называть главные причины социальной пассивности молодежи, ее равнодушия, то нужно упомянуть порожденное затянувшейся неограниченной властью догматического мышления неверие в возможность достичь выдвинутые идеалы. И ситуацию, когда вера, основанная на сомнительном подборе фактов социального развития, ставится выше выводов, сделанных на основе личного опыта. И чувство

бессилия человека, возникшее в результате бюрократизации общественных отношений. И отрицание гуманитарных ценностей. И, наконец, отсутствие достаточно логичного ответа на вопрос: почему наше общество на пути к народному благосостоянию выбирает не те средства, которые в развитых странах сделали благосостояние реальностью, а совершенно противоположные?

Возможно, все вышеизложенное не дышит оптимизмом. Но так рассуждают те, кому еще нет тридцати.

В 1983 году в городе Провиденс (США, штат Род-Айленд) был основан телевизионный канал «Глазами молодежи». В него входят видеофильмы, театральные постановки, репортажи, авторами которых являются... дети и молодежь в возрасте от 12 до 21 года. Они делают все, начиная с операторской работы, и кончая художественным оформлением передачи. Эти передачи рассказывают о том, что больше всего волнует молодежь: о проблемах образования, одиночества, независимости, взаимоотношений человека и техники. Взрослые американцев шокировали ост-

рый взгляд и пессимизм их детей. Разумеется, можно возразить — здесь вам не Америка! Да, не Америка. И нет молодежного канала на телевидении. Хотя о его необходимости свидетельствует хотя бы сматывание зрителем старшего поколения, посмотревшим фильм Подниевкса, — для части «отцов» духовный мир «детей» был тайной за семью замками.

Будем считать, что слова этой статьи не брошены на ветер, если хоть один представитель морализирующих критиков молодежи уразумет, что отношение молодежи к ценностям общества определяется культурным опытом, унаследованным от родителей. Только ее точка зрения расположена на ином уровне исторического и социально-политического развития. Если поймем, что ни одно поколение в своих мыслях и делах не было настолько единым, чтобы в минуту просветления самокритично взвалить на себя и только на себя грехи недавнего прошлого.

Основной смысл вышесказанного хочется резюмировать в перефразированном изречении Гегеля: «У каждого общества такая молодежь, какую оно заслуживает».

РУТА ВЕЙДЕМАНЕ

НАСЛЕДСТВО,

ИЛИ

«... ЕГО УСЫ В НАШЕМ СУПЕ...»

Н. ХИКМЕТ

Что такое время перестройки для нашего маленького народа! Это прежде всего время собирать силы для защиты. Для защиты Даугавы, Юрмалы, Старой Риги, Сигулды, кладбищ, церквей и хуторов, лесов и болот, рыб и птиц. Для защиты культурной и исторической памяти, нравственных принципов.

Утраченные и утрачиваемые ценности можно перечислять долго. Я добавлю к списку только одну — латышский богатый язык. О нем и будем говорить.

Внушают беспокойство нерегулируемые языковые связи с живущими в Латвии представителями других народов, что сказывается на качестве латышского языка.

В телепередаче секретарь ЦК КПЛ Анатолий Горбунов привел такие результаты социологических исследований:

80% живущих в Латвии латышей свободно употребляют оба языка — русский и латышский.

25% живущих в Латвии не-латышей свободно пользуются обоими языками.

25% живущих в Латвии не-латышей вообще не пользуются латышским языком.

50% живущих в Латвии не-латышей используют оба языка частично.

Такова схема двуязычия в нашей республике, точнее, ее количественный аспект.

Качественная характеристика языка включает в себя, с одной стороны, его способность (которая прямо зависит от реальных возможностей) обслуживать разные сферы жизни, а с другой — сами особенности языка, опреде-

ляющие его пригодность и соответствие различным функциям.

«Экологическая ситуация», в которой функционирует современный латышский язык, требует изучения происходящих в нем процессов и даже вмешательства. Наверно, угроза языку — не такой факт, который легко «просчитать» и доказать. Но о том, что пугающие симптомы реальны и объективны, свидетельствуют писатели, ученые, учителя, публицисты, а также статьи, речи, суждения людей, направляю не связанных с изучением языка и обучением ему.

Так что же происходит с латышским языком!

Попробуем сперва рассмотреть процессы и события, создавшие современную модель языка, а потом, в известной мере методом дедукции, добиться результата.

Теория языкознания редко когда влияет на развитие языка (как явления, которое намного ее старше), и язык не всегда зависит от языковой политики. Латышский язык — из тех, которые испытали довольно существенное влияние (наверно, это можно сказать о всех так называемых национальных языках Советского Союза)...

Мне неудержимо хочется написать фразу, в последние годы получившую широкое распространение, которую можно отнести к самым разным явлениям общественной жизни и быта, науки и искусства: «... на развитие неблагоприятно повлиял культ личности Сталина и последовавший за ним застой». Вроде бы безличностный и бесстрастный штамп. Но когда его повторяют так часто, каждый раз меняя объект предложения, возникает тра-

гическая картина методического уничтожения народного самоуважения, культуры, народного духа.

На развитие латышского языка и языкознания неблагоприятно повлиял ...

... на развитие литературы и искусства неблагоприятно повлиял ...

... на развитие биологии ...

... на сельское хозяйство ...

... на использование природных ресурсов ...

И так далее, и так далее.

В этой связи хочу упомянуть некую книгу — самую тяжелую в моем доме — посвящение Академии Наук СССР Иосифу Виссарионовичу Сталину, она издана в 1949 году. Первая статья, играющая роль введения, называется «Сталин — корифей науки». Неизмеримый вклад Сталина в развитие различных отраслей науки отображен в двух с половиной кило статей.

«Неоценимым и неиссякающим источником для развития теоретической мичуринской биологии стали труды товарища Сталина». Цитата из статьи академика Т. Д. Лысенко, а могла бы быть откуда угодно. Тон и направленность у всех у них одни.

О языкознании в этой книге написали академик И. И. Мещанинов и профессор Г. П. Сердиченко. Они благодарят Сталина так: «Советское языкознание своими выдающимися работами, методологической перестройкой полностью обязано великому корифею советской науки Иосифу Виссарионовичу Сталину».

Какая же сила заставила их написать такие строки! К подобным случаям, по-моему, вряд ли можно отнести мысль Ч. Айтматова: «Когда люди годами были унижены, не могли воспротивиться самоуправству и безжалостности государственной власти, они готовы обожествить это зло, находя в этом что-то вроде внутренней компенсации своему бессилию и иллюзорно как бы сливаясь с этим сверхчеловеческим бытием ...» Поскольку отношение к Сталину опиралось на веру — да, видимо, такое обожествление можно себе представить. Но не может же ученый, если он прочитал статьи Сталина, всерьез увидеть в них какие-то приметы гениальности!

Все куда сложнее. Или куда подлее ...

В статье упомянутых языковедов излагаются и идеи, выдвинутые в ранних трудах Сталина по национальному вопросу, против шовинизма и за интернационализм, за право каждой нации на существование и развитие.

Но все эти идеи зачеркиваются такими утверждениями, как «русская нация — величайшая нация из всех, входящих в Советский Союз» [И. В. Сталин, «О Великой Отечественной войне», М., 1949, стр. 196].

Это был достаточно четкий жест, указывающий направление, по которому развиваться теории языкознания и языковой политике, которую называют также языковым строительством. И вот как его поняли: «Великий, богатый и могучий русский язык ... стал языком великой социалистической культуры, который своими живительными соками питает и обогащает творческое развитие языков других советских социалистических наций» [цитирую по академическому «посвящению», стр. 743].

Латышский язык вместе с украинским, белорусским, армянским, грузинским, эстонским был причислен к тем, которые уже имеют и известную литературную обработку [разрядка — моя. Р. В.]

Язык, на котором писали Райнис, Аспазия, Стучка, Асарс, Бригадере, Вирза, Барда, Эзериньш, Чакс, Скалбе, Упитс и многие другие, язык, который изучал Я. Эндзелинс («Грамматика латышского языка» была издана в 1951 году, а в 1958 году удостоена Ленинской премии) ...

Но латышам с их литературным языком, чей возраст — век, разумеется, осталось лишь помалкивать рядом с армянами, с их тысячелетней культурой ...

Было решено, что великий русский народ поделится своей кровью. Полсотни народов получили возможность

перейти на русский алфавит (не считая тех, у кого своего алфавита вообще не было).

Эта кровь циркулирует и в организме нашего языка, разрушая и разоряя его. Я ничего не имею против русского языка, против его богатства выразительных средств, против его человечности. Но именно богатства и человечности и получили от него так называемые национальные языки неизмеримо мало, им досталась огромная порция унифицирующей и парализующей «жидкости», которая дестабилизировала даже сам организм русского языка.

Чтобы подготовить «отсталые» языки к стремительному росту и расцвету, который им обеспечивают завоевания Октября, следовало сперва ослабить их прежнюю основу или, по крайней мере, теоретически доказать слабость этой основы.

Борьбу с традиционным языкознанием возглавил Н. Марр. К тому же «выдающийся языковед» производил перестройку теории языка «под прямым и мощным воздействием» работ Сталина (стр. 7 вышеупомянутой книги).

Естественно, главный удар был направлен против популярнейшего и сильнейшего направления традиционной лингвистики — сравнительно-исторического языкознания, которое у нас представлял главным образом Я. Эндзелинс.

Но это не было столкновением различных школ. Аргументы были куда увесистее ... Теоретиков сравнительного языкознания обвинили не в чем-нибудь — в расизме! «В противовес реакционным и по сути расистским (разрядка — моя. Р. В.), основанным на теории «праязыка» и «пранарода» гипотезам о развитии языка Марр выдвинул прогрессивное и революционное учение о едином процессе создания языка ... Марр возражал и против утверждений старой индоевропеистической школы языкознания о расистски изолированных «чистых и однородных языках племен» [стр. 749].

Расцвета учения Марра я не помню. Я училась на филфаке, когда Марр уже был низвергнут, и сделал это не кто иной, как Иосиф Виссарионович. Мавр сделал свое дело — мавр может уходить ... Или Сталину показалась слишком блестящей слава им же самим инспирированного ученого, или он с самого начала планировал такой поворот ...

В начале пятидесятых годов студентам рассказывали о Марре как о создателе нескольких инфантильных теорий, самой абсурдной из коих была о четырех праязыхах языка: -сол, -бер, -йон, -рош-, из которых якобы и произросли все языки мира.

Но прежний дух покинул языкознание. Преподаватели с кафедры внушали будущим филологам, что языковеду вовсе не обязательно владеть языками, достаточно их понимать.

Языкознание в целом продолжало существовать как своеобразный аполитический-политический придаток идеологии. Утвердился новый тип языковеда — ученого, знания которого о языке примерно таковы, как у всей прочей интеллигенции, но может не быть вообще никаких знаний в других областях [зная, как болезненно относятся мои коллеги к вопросам престижа, поторпливлюсь добавить, что считаю прежде всего себя типичной представительницей этой модели, а во-вторых — что всегда были и есть люди, которые, невзирая на узкие рамки дозволенной деятельности, все же проводили серьезную научную, методическую и педагогическую работу].

В той части теории, которая легла в основу для руководства процессами развития языка на практике, поправки Сталина идей Марра не поколебали. Марр признавал, что язык — классовое явление, Сталин отрицал это, Марр считал язык категорией надстройки, Сталин не относил его ни к надстройке, ни к базису и т. д. Все это было на чисто теоретическом уровне.

Но практически в судьбе языка сыграло роль следующее высказывание Сталина: «Совершенно неверно было бы думать, что... в результате скрещивания двух языков появится новый, третий язык... На самом деле в ходе скрещивания один язык оказывается победителем, сохраняет свой основной словарный запас и в дальнейшем развивается по внутренним законам своего развития, а второй язык постепенно утрачивает свое качество и постепенно отмирает» («Правда», 1950, 20 июня).

Этот нюанс, возможно, был продиктован страхом и заботой о дальнейшей судьбе русского языка, ибо в той же статье он, приводя исторические примеры, добавляет, что «русский язык... всегда оставался победителем».

Перспективы латышского языка от этого лучше не стали. А как иначе. Нация ведь не вечна. Она имеет свои «начало, историю и конец» (тезис Сталина).

Каждая фраза в трудах, речах, статьях не только самого Сталина, но и покровительствуемых им ученых, публицистов, идеологов имела огромный вес. Эти фразы тиражировали и использовали то как импульс, то как оправдание. Ими убивали и ими воскрешали.

Было признано желательным, чтобы в национальных языках — не только в «малоразвитых» и «неразвитых», но и «в известной мере литературно обработанных» — развивалась терминология. «Терминология — важнейший участок языковой работы». [Мне такая постановка вопроса приводит на ум кукурузу, торфоперегнойные горшочки, освоение целины и другие «важнейшие участки» разных времен]. «Правильное формирование терминологии поможет жителям национальных республик быстрее и точнее осваивать общественно-политические значения, специальные научные дисциплины» («Посвящение И. В. Сталину», стр. 745). Итак, терминология стала привилегированной отраслью языкознания. Она была «приятна» потому, что держала под контролем важную часть процесса развития языка. Развитие же языка в большей мере означало его подготовку к слиянию языков, а значит, к исчезновению отдельных языков, хотя и в очень далеком будущем.

Тут необходимо сделать две оговорки. Во-первых, не хочу утверждать, что теория языка принимала всерьез эти тезисы о скрещивании языков. Но основы нового языкознания были заложены так крепко, что они все еще продолжают влиять на науку. Оттуда идут гигантомания, растворение личности в коллективном труде, фетиш теории русского языка и языкознания. Во-вторых, ни один литературный язык не развивался без своей терминологии, и для латышского языка возможность развития терминологии все же была жизненно необходима. И этот труд нельзя недооценивать. Но, как и все одностороннее, и это дело тоже привело к нежелательным результатам.

По сравнению с другими подсистемами языка, терминология оказалась сильно гипертрофирована. Это не только привело к огромному количеству новообразований, но и потеснило прочие функции. Рекомендованные к употреблению терминологические названия распространились за пределы терминологической системы и стали претендовать на «единственность». Пострадали возможности синонимической выразительности, ослабилась стилистическая способность языка.

Терминам уже по самой их сути свойственны качества, делающие их непригодными для ведущей роли в языке. Это все же периферийная система, отчужденная от прочих движений и процессов, даже если речь идет о терминологии самых популярных областей. Жизнь и общество терминология отражает в той же мере, что эсперанто — особенности современной ноосферы. Внутренняя форма терминов — понятия, а не отношение к действительности тех людей, которые употребляют эти слова. Осваивается, в сущности, только та область жизни, где язык активно действует и возникает необхо-

димость в стихийном словотворчестве. Для поддержания существования языка термины дают меньше, чем от них ожидали. Особенно в наших условиях, потому что они не вырастают из языковой практики и не проверяются на практике...

При оценке способностей языка в языкознании обычно рассматриваются различные сферы его употребления, и это служит своего рода пробным камнем. Пока язык развивается, возможно только одно направление — в сторону расширения этих сфер. В противном случае язык под угрозой.

Различают 12 сфер. Это — 1) хозяйственной деятельности, 2) административно-общественной деятельности, 3) науки, 4) делопроизводства, 5) информации, 6) эстетического воздействия, 7) художественной литературы, 8) народного творчества, 9) образования, 10) быта, 11) личной переписки, 12) религиозных культов. По-моему, стоит присоединить еще и военную сферу.

Не останавливаясь на каждой сфере подробно, скажу о тех, где языковая деятельность наиболее ограничена.

Не соблюдается требование о латышской терминологии и латышском языке общения, например, во многих отраслях промышленности, в морском деле и судостроении. Не проверяется в языковой практике пригодность ни старых, ни новообразованных слов, если такие имеются, для сегодняшней ситуации.

Когда студентам-филологам на лекциях по лексикологии рассказывают про социальные диалекты, то используют главным образом моряцкую лексику из романов Вилиса Лациса. Более современных слоев просто нет...

Не выработался свой стиль речи и на производстве. На заводах говорят обычно или по-русски, или на «креолизированном» латышском языке. А чего нет в языке, то не придет и в искусство слова. Даже писатели и поэты, которые вообще-то могут сделать немало, чтобы сохранить язык, ничего не создадут на пустом месте. Потому и в литературе, в которую должен же когда-то прийти долгожданный образ современного рабочего, возможен на деле только такой рабочий, который думает и говорит как Белс или Скуиньш, Колбергс или Якубанс.

Ведь язык — это не только слова и формы. Язык — это общественная жизнь, философия, мораль, темперамент, душа... По мнению Гегеля, это самая простая форма существования человека вне самого себя.

Необходимость родного языка в сфере административно-хозяйственной деятельности уже обсуждалась в печати, и именно в последние годы произошел поворот в отношении к этой проблеме. Необходимо в принципе согласиться с тем, что вести идеологическую работу в неоднородных с национальной точки зрения коллективах не то что не имеет права — а вообще не может человек, не знающий обоих языков.

В сфере делопроизводства латышский язык как бы парализован.

Языковеды считают, что, наряду со сферами народной культуры, религии, личной переписки родной язык дольше всего и крепче всего удерживается в бытовой сфере.

Но быт — это не только семья. Быт продолжается за ее пределами в общественном транспорте, в магазинах, мастерских, поликлиниках. А здесь он максимально русифицирован. Но если человек «в своей отчизне и на языке материнском» [Мара Залите] не может пожаловаться врачу, эта ситуация принижает саму идею медицинского обслуживания. А язык — латышский язык — уязвлен в самой своей основе.

Требование беречь в чистоте и всеми силами сохранять свой язык — это не только требование культуры. Оно вытекает из заботы о народном духе, о сохранении самого народа, о его спасении от денационализации [вспомним ту языковую теорию, по которой при скрещивании языков один побеждает, а другой ассимили-

руется!] В этой связи говорят обычно об этнической функции языка, об этнической общности, о проявлениях этнического самосознания.

Как доказательство того, что в существующих условиях двуязычия и сосуществования и взаимодействия различных ментальностей практически происходит нивелировка ментальности, могу привести такой пример. Речь пойдет о «Поэме о молоке» и «Колосе-двойчатке» Иманта Зиедониса. Перевод признан удачей Людмилы Азаровой, и тут я спорить не стану. Но у издания есть предисловие.

«Не столько беды — колосья под снегом. Заснежен великий Путь Зерна, вот в чем ужас». Эти слова Владимир Огнев комментирует так: «Время экологического кризиса, время голода целых континентов говорит устами поэта». Но Путь Зерна — это не Путь Благополучия, и его утрата не означает голода. Путь Зерна — это утро, это — порядок вещей.

«Счастье — это порядок вещей, ничего больше». Зиедонис пишет стихи о дне Екаба, дне рождения Каравая, когда на столе должен быть новый хлеб. А Огнев комментирует: «И мы понимаем, что поэту дорого в этом обычае — отмечать того, кто первым соберет, обмолотит, сметет, выпечет, угостит другого... Не похвальбы ради,

а ради того, чтобы было на кого равняться людям, нужна норма трудовых усилий».

Парадоксально, но интерпретатор выражает как раз ту точку зрения, для которой Зиедонис ищет альтернативу, представляет именно тот тип мышления, то отношение к работе, которому Зиедонис противопоставляет культ труда.

ОТМЕТИТЬ, РАВНЯТЬСЯ, НОРМА — эти понятия представляют ту систему, при которой труд деградировал, исчезла нравственность труда.

Утрачена абсолютная мера труда, ей на смену пришла относительная, которая на самом деле — категория не качества, а количества.

«Магия цифр и масштабов, которая не давала нам качество и которую не измерить здравым смыслом, принесла нам немало бед, и, боюсь, по инерции (разрядка моя. Р. В.) еще будет их приносить». Я хочу обратить внимание именно на слова «по инерции», недаром их сказал Владимир Боров...

Его усы еще мокут в наших тарелках с супом. И есть такие области (к ним относится и язык), где в общем движении к прогрессу, возможно, долго еще будут ощущаться трудноуловимые маленькие процессы, ведущие в противоположном направлении и продиктованные логикой, вывернутой наизнанку.



КСЕРОГРАФИЯ ВИЛНИСА ЗАБЕРСА

«Каждая медаль имеет две стороны» — эта по-прежнему злободневная народная мудрость в порыве энтузиазма нет-нет, да и забывается. Одной из таких «медалей», до сих пор рассматривавшихся исключительно с лицевой стороны, является двуязычие. Конечно, знание языков еще никому не повредило, и, если двуязычные жители национальной республики получают как бы определенные привилегии в культурной сфере, то это вполне закономерно. Однако следует признать, что многие вопросы, связанные с образованием и функционированием двуязычия, до сих пор не были подвергнуты серьезному научному изучению, тут советская лингвистика остается должником. Потому весьма осязаемый резонанс вызвала обширная статья эстонского языковеда Магта Хинта «Проблема двуязычия: взгляд без розовых очков» (в журнале «Викермаар» — «Радуга», 1987, № 6—7). М. Хинт является ученым, обладающим широким кругом интересов и устойчивым авторитетом; в данной статье он опирается как на собственные наблюдения, так и на результаты исследований финских, шведских, канадских лингвистов. Редакция упомянутого журнала предпослала статье М. Хинта замечание, что эта статья является «в определенной степени дискуссионной», однако одновременно выразила уверенность в том, что только отказ от запрещенных тем и открытое обсуждение «больных» вопросов национальной культуры может содействовать достижению подлинного интернационализма в сознании и во взаимоотношениях людей.

М. Хинт впервые в советской лингвистике подвергает научному анализу многие аспекты двуязычия, являющиеся в Латвии не менее актуальными, чем в Эстонии. Чтобы нам не пришлось заново открывать Америку, хотим познакомить наших читателей с основными аргументами и выводами эстонского языковеда, дополнив их по мере необходимости более актуальным для нас иллюстративным материалом и минимальными комментариями. В изложении сохранена структура и подзаголовки статьи М. Хинта.

Толкование основных терминов.

Двуязычие — это способность индивидуума использовать два языка на одинаковом или приблизительно одинаковом уровне. Полностью двуязычный человек может на полуслове свободно переключиться с одного языка на другой. Двуязычие достигается только в возрасте овладения языком (т. е., до 5—6-летнего возраста) в семье или в двуязычной среде, но не при помощи методов обучения иностранному языку. (Тезис о возрастных ограничениях достижения двуязычия представляет собой, пожалуй, наиболее уязвимое звено концепции М. Хинта. — О. Б.). У нас термин «двуязычие» часто используется непоследовательно, для обозначения лишь элементарной способности выразить свои мысли на другом языке. Однако нет сомнений, что тезис «Русский язык — второй родной язык» предполагает именно полное двуязычие.

Иностранному языку с лингвистической точки зрения

следует считать любой язык, который не является родным. Официально принято разделение на иностранные языки и языки народов СССР. Однако факт отсутствия политической границы сам по себе никак не облегчает овладение языком, и поэтому для около ста миллионов советских людей русский язык в принципе является «иностраным». (В данном случае неудачным представляется сам термин, принятый в русской лингвистике; гораздо точнее содержание обозначаемого понятия отражает немецкое *fremdsprache* или образованное, по-видимому, по немецкому образцу латышское *svešvaloda*, т. е., «чужой язык» (такое же дословное значение имеет соответствующий термин и в эстонском, финском, литовском и ряде других языков — О. Б.)

Русский язык в Советском Союзе используется как язык межнационального общения. Язык, используемый для взаимного общения жителями этнически неоднородной территории, называется *lingua franca*. Любой осуществляющий эту функцию язык подвергается упрощению и до некоторой степени коверкается. Уровень культурного языка такие языки сохраняют только в одноязычном коллективе.

Если *lingua franca* используется продолжительное время, в нем могут образоваться подвергнутые влиянию местных языков варианты с упрощенной грамматикой и ограниченным запасом слов. Такое явление называется пиджинизацией, и оно затронуло все большие колонизаторские языки (латинский, английский, французский, испанский, португальский, голландский), ставшие основой использованных в колониях пиджинизированных языков.

Если использующее такой язык общество получает независимость и соответствующий язык становится единственным на данной территории, то он начинает быстро развиваться и совершенствоваться. Такие языки называют креолизованными. Креолизацией языка называют также другое явление — чрезвычайно сильное влияние доминирующего в социальном и политическом отношении языка на тот язык, который в данном обществе является угнетенным (в свое время таковыми были отношения, например, между латышским и ливским языками. — О. Б.)

1. ПРОБЛЕМЫ

Двуязычие всех нерусских национальностей СССР во многих документах, директивных программах и моделях развития общества сформировано как аксиоматическое требование. Среди практических мероприятий, способствующих двуязычию, следует назвать организацию смешанных детских садов, введение обучения русскому языку в детских садах и поднятие уровня этого обучения в школах, увеличение количества разных изданий, а также радио- и телепередач на русском языке и т. д.

Если происходит массовое овладение другим языком, то нельзя недооценивать культурную мотивацию, позволяющую этому овладению происходить добровольно. У нас роль культурной мотивации долгое время недооценивалась, а возможности административных решений и мероприятий, наоборот, — переоценивались. На самом деле в Эстонии достаточно высокий пост может занимать человек, не имеющий ни представления об эстонской культуре, ни желания овладеть эстонским языком — даже в том случае, если на данном посту знание эстонского языка является весьма желательным. В эстонских школах русскому языку обучают 11 лет, однако результаты, как правило, являются весьма посредственными (говоря об абитуриентах латышских школ, столь категорическое утверждение было бы не совсем уместным; следует принять во внимание, что эстонский язык в структурном отношении гораздо больше отличается от русского языка, чем латышский язык, что, естественно, делает более продолжительным процесс овладения языком. — О. Б.) Такое положение невозможно изменить при помощи административных мероприятий. К тому же административно навязанное двуязычие имеет свои сомнительные аспекты, связанные с недостаточной лингвистической, психологической и психолингвистической изученностью двуязычия и с односторонней, конъюнктурной интерпретацией уже полученных научных данных.

Административно вводимое двуязычие — это эксперимент с целыми народами — может привести к непредвиденным последствиям в огромном масштабе. Даже самые незначительные отклонения при этом могут оказаться причиной трагедий, которые коснутся многих поколений. Однако ученые молчат. До наших дней живой сохранилась память о реабилитированных посмертно исследователях — академике Николае Вавилове (1891—1938), а также «память» о головокружительных успехах создателя «новой агробиологии» Т. Лысенко и «нового учения о языке» Н. Марра. Эти «успехи» не забыты вплоть до наших дней (Эстонская Советская энциклопедия поместила статью о Марре, но нет в ней статьи о Поливанове, хотя последний был связан с Эстонией и с изучением эстонского языка). Конъюнктурщики выделяются активностью также при пропаганде двуязычия. Некоторые «теоретики» отнюдь не скрывают, что их теория предполагает реализованный за краткий срок переход на только русскоязычную культуру, а двуязычие следует считать лишь переходной стадией, необходимой для достижения этой цели.* Несмотря на громкие фразы и благородные принципы, реальный социализм вырастил людей (имеющих даже научные степени), отличающихся высокомерным и презрительным отношением к языкам и культурам малых народов. Для таких людей существуют только проценты производства и прирост этих процентов. Национальный язык и национальная культура, представляет ли народ численное большинство или меньшинство на своей исторической территории — это все, мол, является настолько незначительным, что даже упоминание этих моментов следует считать проявлением местничества, ограниченности, мелочности (великолепным примером такой позиции является интервью, данное проекторщиком атомных электростанций В. Пыжиковым из Киева («Падомью Яунатне», 1988, 3.06.). — О. Б.). Следует думать, по их мнению, только о процентах производства, а не о том, ради чего и для кого эти проценты достигаются. Однако, если бы народы мира были уверены, что их жизнь, национальная культура и историческая территория в обозримом будущем будут гарантированно защищены, легче было бы решать и другие проблемы, в том числе и производственные.

Многие на проблему двуязычия еще смотрят сквозь розовые очки. Такая односторонняя позиция может способствовать принятию ошибочных, даже непоправимых решений. Поэтому необходимо, чтобы общество и ответственные лица имели ясное представление о теневых сторонах двуязычия. Не отрицая положительные стороны двуязычия — более быстрое духовное развитие психически сильных детей, большие возможности получения информации, интенсивные культурные контакты и др., в первую очередь следует обратить внимание на менее приятные моменты, которые до сих пор упоминались лишь намеками или вообще замалчивались: 1) возможные отрицательные последствия двуязычия для индивидуальности; 2) возможные отрицательные последствия двуязычия для языков малых народов; 3) возможные отрицательные последствия двуязычия для языков больших народов (в конкретном случае — для русского языка); 4) трудности психологического характера в трудовом коллективе и в семье.

2. ВЛИЯНИЕ ДВУЯЗЫЧИЯ НА ЛИЧНОСТЬ

У нас откровенно говорят только о тех сторонах двуязычия, которые положительно влияют на личность (расширение возможностей коммуникации, большая доступность к мировой культуре и источникам информации, предполагаемое ослабление национальных предрассудков и т. д.). Однако овладение вторым языком в детском возрасте является психологической проблемой, с которой далеко не все дети могут успешно справиться. Ребенок — это как бы машина освоения языка, в нем генетически запрограммировано овладение ОДНИМ (любым) языком (а не двумя одновременно) точно так же, как у 99% новорожденных генетически запрограммировано более проторное овладение

* Здесь указаны также конкретные публикации.

ние правой или левой рукой, а не «равноправие» обеих рук.

Как происходит развитие языка у детей? Точная координация органов речи достигается к 3—4-летнему возрасту, наиболее существенная часть грамматики родного языка усваивается к 5—6 годам, далее следует ознакомление с более сложными и редкими конструкциями. В стилистических отличиях ребенок начинает ориентироваться приблизительно к 10 годам, однако навыки этого рода развиваются медленно. Расширение словарного запаса и уточнение знания слов происходит в тесной связи с накоплением опыта и углублением образования. Вместе с социализацией личности происходит овладение социальными навыками использования языка, умением согласовать речь с ситуацией, знанием, как разговаривать, как писать, как слушать, о чем в определенном обществе принято и о чем не принято говорить. Языковая стилистика и речевая этика — это наиболее сложные уроки языка. Для детей не существует разделения тем на принятые и непринятые. Пятилетний ребенок может высказаться грамматически правильно, но он еще не думает о том, можно ли говорить о чем-то плохом или интимном. В классовом обществе речевой этикет вместе с социальным этикетом занимал важное место в воспитании детей привилегированных классов. В наше время в данном направлении прилагается значительно меньше осознанных усилий.

Что касается двуязычия, то стилистические отличия и речевой этикет второго языка — это сферы, которыми полностью овладеть весьма трудно и во многих случаях даже невозможно. (Об этом, кстати, свидетельствует существование множества анекдотов и анекдотических рассказов о провалах шпионов, вроде бы великолепно овладевших иностранным языком, но имеющих пробелы в знании его речевого этикета. — О. Б.). Носители эстонского языка, например, не в состоянии овладеть даже такой относительно простой вещью, как обращение по имени и отчеству; трудности доставляет даже только упоминание отчества, не говоря уже об осознании стилистических нюансов такого обращения (выражает ли оно уважение, сердечность, фамильярность, полуофициальность или все это вместе). Латышу также освоение отчеств дается совсем нелегко; из-за языковой специфики трудности доставляет даже только запоминание отчеств, не говоря уже о правильном и прочувствованном употреблении их. Между прочим, неадекватно может восприниматься также обращение носителя русского языка по имени и отчеству к латышу: пришлось слышать, что некоторым такое обращение ощущается как фамильярное, т. е. приравнивается к обращению по имени, так как отчество для латышского речевого восприятия является как бы «пустым звуком». — О. Б.).

Если общение на втором языке начинается до освоения стилистических нюансов родного языка, то в конце концов навыки родного языка, связанные со стилистическим аспектом, могут так и остаться несовершенными. Тем самым высший уровень культуры речи для большинства двуязычных может оказаться недостижимым (в худшем случае в обоих языках).

Проблемы возникают также на других уровнях языка. Фонетические различия двух языков налагают на ребенка большую аналитическую нагрузку — ему необходимо научиться различать гораздо больше похожих (с весьма незначительными отличиями) звуков, чем ребенку, растущему в одноязычном окружении. Если ребенок справляется с этой задачей (а легко это удается только немногим), то у него появляется шанс овладеть произношением обоих языков без акцента. Если же эта задача оказывается для ребенка непосильной и путаница с использованием двух языков вокруг него продолжается, то для него открывается прискорбная перспектива стать полуязычным или человеком с дефектом речи.

Полуязычие — это неспособность ребенка, выросшего в двуязычной среде, ясно выразить свои мысли ни на одном из языков (конечно, такая неспособность бывает характерной и для взрослых). Полуязычие выражается как: 1) недо-

статочно развитая способность образования сложных понятий вместе с недостаточно развитым абстрактным мышлением; 2) неуверенность анализа и использования грамматических связей; 3) недостаточная координация артикуляционных органов. Причины этих явлений следует объяснить несколько подробнее.

Есть большая разница, растет ли ребенок под влиянием речевого ритма одного или двух языков. Под влиянием двух разных ритмов точность артикуляционных органов может не достигнуть необходимой степени. В таких случаях часто возникают нарушения координации упомянутых органов, и в результате ребенок начинает заикаться или приобретает какой-то другой дефект речи. В школе проявляется дисграфия — неспособность вообще правильно писать или писать буквы в правильной последовательности (и в родном языке). Это все является результатом недостаточного развития координирующих движений. Недавно на международном симпозиуме в Таллине московский ученый Л. Иванов познакомил с исследованиями, подтверждающими мысль, что двуязычие дошкольников может способствовать возникновению заикания. Кроме того, двуязычным детям труднее воспринимать абстрактные понятия. Многоязычное общество отнюдь не является олицетворением высокой духовной культуры и ярких идей. Наоборот, ситуация психического давления, стресса и обзательного двуязычия способствует образованию такого общества, в котором процент заикающихся выше среднего, а уровень абстрактного мышления общества ниже среднего.

Трудности анализа грамматических средств двух языков и автоматический перенос грамматической модели одного языка на второй язык создают те грамматические проблемы, которые возникают у ребенка в двуязычной среде. О том, насколько чувствительной является эта сфера взаимоотношений двух разных языков, свидетельствуют, например, переводные тексты.

Однако наиболее опасным следует признать недостаточное развитие способности к образованию понятий. Формирование этой способности происходит в сознании ребенка при помощи именно родного языка. Два языка одновременно могут создать путаницу, и в результате абстрактные понятия потеряют четкость, ребенок не сможет уверенно и точно пользоваться ими. Конкретные понятия такую опасность в себе не таят, потому что стол — это стол, а кукла — это кукла; все вполне ясно и на двух языках. Ну, а почему латышскому *tiērs* в одном случае соответствует мир, а в другом — покой, как разграничить крайний, последний и конечный (по-латышски *pēdējais*, иногда *malējais*), как — долгий и длинный (по-латышски *ilgs* и *garš*, однако распределение значений между этими парами слов в каждом языке имеет свою специфику) — все это ребенку совсем не легко понять. Так как ребенок использует главным образом конкретную лексику, то недостатки в его развитии, предопределенные недостаточной способностью осмысления абстрактных понятий, замечаются не сразу, духовная ограниченность становится явной лишь во время учебы и позже.

Общий запас слов у ребенка, воспитанного в атмосфере двуязычия, конечно, несколько больше, чем у одноязычного ребенка того же возраста. Однако в то же самое время у двуязычного ребенка меньше четко-образованных понятий и не достает точности при использовании этих понятий. В общем психолингвистическом развитии двуязычный ребенок отстает от одноязычного ребенка.

Отрицательные явления, связанные с двуязычием, более опасны для ребенка с низкими или средними способностями и со слабым психотипом. В их отношении вполне уместен риторический вопрос некоторых ученых: двуязычные или полуязычные? (Так озаглавлено опубликованное отдельной книгой исследование финско-шведского двуязычия: Nils Erik Hansegard. Kaksikielisiä vai puolikielisiä? — Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas 81. Vaasa, 1979.).

Особенную предосторожность заставляет проявлять

заграничный опыт организации смешанных детских садов. Если ребенок посещает такой детский сад, в котором при общении не используется его родной язык, то психолингвистическая отсталость этого ребенка к концу дошкольного возраста достигает одного—двух лет. В такой школе, где занятия проводятся не на родном языке, эта отсталость быстро увеличивается (по некоторым данным, двенадцатилетний ребенок, воспитавшийся в таких неблагоприятных условиях, в своем языковом развитии находится на уровне 8—9-летнего ребенка).

В школе с преподаванием на родном языке, используя эффективные педагогические методы, можно было бы в определенной степени ликвидировать эту отсталость. Однако весьма сомнительно, способны ли на это наши гигантские школы с самыми большими в Европе по количеству учащихся классами, в которых индивидуальная работа с учеником практически невозможна, а ребенок часто пребывает в стрессовом состоянии.

Влияние двух языков меньше травмирует ребенка в таком случае, если на него обращается больше внимания и если каждый из языков имеет свою определенную ситуативную роль; например, говоря с родителями, используется один язык, а при общении с домашним учителем — другой (как в свое время в дворянских семьях). Употребление обоих языков без определенной системы заставляет ребенка психически напрягаться, так как он постоянно должен быть готовым к двойной реакции.

Какую опасность таит в себе полуязычие в неблагоприятных условиях обязательного двуязычия? К каким потерям приводит? По некоторым данным, каждому десятому ребенку угрожает полуязычие. Может быть, эти десять процентов не слишком большая цена, если оценивать по масштабам военачальников, однако она ужасает, если за процентами видим людей, тысячи подверженных стрессу детей. А позже взрослых, которые из-за низкой языковой интеллигентности не в состоянии сформулировать свои мысли. Конечно, в нашей стране каждый из них найдет себе место, однако оно будет далеко не соответствующим его врожденным потенциалам. Трудно даже представить себе потери общества, причиной которых является то, что люди не могут ясно сформулировать и выразить словами свои мысли и идеи.

К упомянутым 10 процентам следует добавить еще несколько десятков процентов таких людей, чьи способности к абстрактному мышлению остаются недостаточными. Только очень немногие дети сильного психического типа от ситуации двуязычия выигрывают — они овладевают вторым языком без видимых отклонений в языковой интеллигентности.

Недостаточное развитие языка — это не единственная опасность, угрожающая индивидууму в условиях форсированного двуязычия. Языковая неполноценность обычно дополняется недостаточным культурным развитием и раздвоением личности.

Связь с родным языком для ребенка является важной предпосылкой идентификации своей личности, действующей с первых дней жизни новорожденного (а по данным некоторых исследователей — в виде языкового ритма уже в материнской утробе). Как для ребенка, так и для взрослого для положительной самоидентификации своей личности необходим языковой и культурный континуитет, сопровождаемый высокой оценкой своего языка и своей культуры. Как можно представить себе образование полноценной личности, если родной язык признается неполноценным (например, утверждается, что эстонский язык не предоставляет возможностей для полноценного развития личности, поэтому, мол, русский язык здесь является совершенно необходимым)!

Двуязычие может породить чувство неопределенности национальной принадлежности, привести к тому, что люди начинают стыдиться своей национальности. В результате неизбежно возрастает агрессивность, падает интерес к культуре своего народа и культуре вообще (типичный и яркий пример — судьба американских индейцев), возни-

кают комплексы, внутренние и внешние конфликты. Низкая оценка своей культуры, также как высокомерное отношение к другому языку и другой культуре, является одним из скрытых источников национальных конфликтов.

Для уменьшения числа или полного устранения межнациональных конфликтов совершенно необходимо, чтобы престиж соприкасающихся языков и культур был бы обоим высоким, чтобы носители обоих языков подобающе высоко оценивали друг друга.

3. ПОСЛЕДСТВИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ ДЛЯ ЯЗЫКОВ МАЛЫХ НАРОДОВ

Для создания высокой современной культуры наряду с благоприятными общественными условиями необходима также языковая самостоятельность и языковая устойчивость общества. Именно отсутствие этих последних факторов может быть одной из причин того, что даже некоторые большие народы имеют относительно скромную художественную литературу.

Поучительной является история возникновения эстонской культуры (как современной европейской культуры). Эта история довольно типична для всех молодых европейских культур от Финляндии до Балкан (и почти полностью совпадает с историей латышской культуры, поэтому в последующем изложении этого вопроса обозначение «эстонская» вполне можно было бы заменить словом «латышская» — О. Б.). Движущие силы начального периода пробуждения эстонской культуры составляла двуязычная интеллигенция — эстофилы из прибалтийских немцев (главным образом пасторы) и немногочисленные интеллигенты эстонской национальности, которые говорили и, вероятно, также думали по-немецки. Это происходило в середине прошлого века. Следующие поколения эстонских интеллигентов — во второй половине прошлого века и даже позже — также получили образование на немецком языке. Такой этап в процессе создания культуры является неизбежным.

Казалось бы, можно сделать вывод, что двуязычие способствует образованию национальной культуры. Однако на самом деле все гораздо сложнее. Во-первых, двуязычной была лишь элита молодого национального общества, т. е. люди, которые занимали более высокие общественные позиции по сравнению со средним носителем эстонского языка и были наиболее убежденными в своих национальных стремлениях. Во-вторых, дальнейшее развитие эстонской культуры показывает, что эстонский язык и эстонское общество достигло уровня подлинной европейской культуры только после того, как в результате осознанного языкового строительства и обновления эстонский язык освободился от излишнего влияния немецкого языка, стал подлинно независимым.

Несколько преувеличивая, можно сказать, что в конце прошлого века лексика и синтаксис эстонского языка были подвержены сильной креолизации. Язык «хромал», опираясь на немецкий костыль, был неустойчивым и не в состоянии сопротивляться иноязычным влияниям именно из-за того, что не имел необходимой самостоятельности, недостаточно развитым было языковое самосознание. Переломной оказалась деятельность первого поколения двадцатого столетия. Начиная с этого времени эстонский язык в состоянии функционировать в любой отрасли народного хозяйства, культуры и науки.

Языковое самосознание является очень важным фактором при образовании нации. Этого нельзя не учитывать также и в наше время. Популяризуемый иногда тезис, в соответствии с которым полное двуязычие эстонцев является неизбежной предпосылкой дальнейшего развития национальной культуры, представляется только априорным политическим лозунгом. Как же это в наши дни, когда эстонская культура имеет уже продолжительную традицию, когда число эстонских интеллигентов больше, чем когда-либо раньше, когда количество изданий на эстонском языке все увеличивается, развитие эстонской культуры

вдруг оказывается невозможным без тотального двуязычия? Конечно, совсем другое дело — владение вторым языком на уровне иностранного и обогащающие культурные контакты.

Какие последствия для языка малого народа может вызвать тотальное двуязычие? Учитывая культурные отличия и одинаковый культурный уровень, не следует бояться быстрой ассимиляции. Гораздо реальнее угрожает дестабилизация структуры языка. Сперва четкость теряют высшие уровни языка — стилистические нюансы, точное восприятие речевой ситуации, речевой этикет. После этого следуют колебания в значениях и сочетаемости слов. Далее под влиянием второго языка меняются модели предложения и появляются отклонения в частотности использования грамматических форм, неопределенным становится управление, появляются заимствованные слова-паразиты и калькированные фразеологизмы, могут возникнуть отклонения в артикуляции звуков.

Влияние другого языка можно считать обогащающим до определенного предела. У нас принято считать обогащающим любое влияние русского языка, даже такое, которое дестабилизирует структуру другого языка (дестабилизация начинается тогда, когда элементы своего языка замещаются новыми заимствованиями). Опасна ли такая дестабилизация для языка? Это зависит от степени неуравновешенности языковой системы и от экстралингвистической (внеязыковой) ситуации. Определенная нестабильность характеризует все языковые системы, в которых регулярно происходят перемены, иногда на первый взгляд даже незаметные. Языку необходимо время, а языковой формации — сила, чтобы после таких перемен вновь обрести равновесие. Однако иногда ситуация может оказаться неблагоприятной, поиски равновесия могут потребовать больше времени и больше энергии, чем располагает данная языковая формация. В таком случае языковая система может оказаться деформированной. В результате возникнет множество вопросов: можно ли сказать так или иначе, имеет ли данное выражение только одно или еще какое-либо значение и т. д. Падает также социальный престиж языка. Если одновременно происходит и культурная ассимиляция, то может последовать быстрая замена одного языка другим. Этот процесс, между прочим, является характерным для многих финно-угорских народностей Советского Союза (для карелов, вепсов, хантыйцев, мансов и др., в том числе также для самого крупного в количественном отношении финно-угорского народа нашей страны — мордовцев — О. Б.).

Эстонскому языку ничего похожего пока не грозит. И все-таки все перечисленные чужие для языковой структуры черты уже можно заметить. Язык печати и бюрократии перенасыщен буквальными переводами с русского языка разных инструкций и распоряжений, появляются неэстонские конструкции для перевода грамматических конструкций русского языка. Дети также оказываются подвергнутыми иноязычному влиянию. Сомнительно, назовут ли лингвисты такие явления обогащением языка.

Каким представляется прогноз сохранения равновесия структуры эстонского языка в случае тотального и полного двуязычия? Наиболее подходящим определением является — *критический*, с постоянным ощущением опасности. Не лингвистам решать, стоит ли доводить общество до такого состояния.

Исторический опыт позволяет прогнозировать также культурную способность креолизированного смешанного языка — с таким языком создание высокой культуры невозможно. Когда креолизация охватывает большую территорию, огромное количество духовной энергии попросту теряется.

4. ПОСЛЕДСТВИЯ ДВУЯЗЫЧИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА БОЛЬШОГО НАРОДА

История переполнена предостерегающими примерами пиджинизации и креолизации больших культурных языков.

Многие современные пиджинизированные языки, используемые в Гонконге, Сингапуре, Новой Гвинее и др., возникли на основе английского языка. Некоторые пиджинизированные варианты английского языка существуют уже несколько столетий, однако ни один из них до сих пор не стал основой для создания культуры высокого уровня. Сфера их функционирования — работа, торговля, дешевые увеселительные заведения; социальная принадлежность — низшие слои общества. Однако и на более высоком уровне даже всемогущий английский язык дорого расплачивается за ведущее место в мире. Он теряет свою индивидуальность, в частности, из-за того, что появляется огромная масса неотшлифованной информативной и научной литературы, создаваемой на английском языке авторами, для которых этот язык не является родным. Очевидно, даже древние культурные традиции оказываются не в состоянии уберечь язык от упрощения и определенной деградации, если общность людей, говорящих на этом языке, слишком неоднородна.

Можно ли ожидать проявления закономерностей такого рода и в социалистическом обществе? У нас с гордостью говорят о том, что русский язык сам собой стал языком межнационального общения в трудовых коллективах, армии, науке, быту. Но попытался ли кто-нибудь изучить и подробно описать, в какой форме великий, могучий и культурный русский язык функционирует, скажем, во многонациональной бригаде строителей, команде торгового судна или в армейском подразделении? О таких вопросах у нас предпочитают не говорить, хотя это один из важнейших аспектов реальной жизни языка. В ином многонациональном коллективе русский язык функционирует в столь исковерканном виде, что снова превратить его в культурный язык уже невозможно. Таковой также является цена, которую приходится платить языку, используемому в качестве средства межнационального общения.

Очевидно также, что на территориях с нерусским коренным населением русский язык как средство межнационального общения функционирует в примитивизированной форме. Иначе это и быть не может, потому что крайне трудно, например, полностью прочувствовать стилистические нюансы языка, который не является родным. Иногда обращается внимание на то, что языки коренного населения советских республик влияют на русский язык. (В Латвии речь может идти о таких заимствованиях в местной русской разговорной речи, как *ринда* — очередь, *рабарбар* — ремень и др. — О. Б.). Может быть, такие отклонения и обогащают русский язык, придают его региональному варианту «местный колорит», однако только в культурном употреблении. Но в условиях массового полуязычия русский язык функционирует в качестве *lingua franca*, к тому же нередко плохо освоенного.

Возможно, что великий русский язык от таких упрощений в конце концов и не пострадает, останется более или менее в целостности и сохранности, так как имеет огромные людские ресурсы и большие культурные центры. Однако на его региональные варианты оказывали и оказывают влияние местные языки, поэтому носителям русского языка и блюстителям его чистоты придется приложить немало сил и энергии для стабилизации этого языка. Иноязычное влияние может распространиться и за пределы периферии. Так, например, некоторые отклонения (нелогичные интонационные модели) уже наблюдаются в русской речи москвичей.

5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДВУЯЗЫЧИЯ

Проповедники двуязычия, не утруждая себя поиском доказательств, утверждают, что мононациональные коллективы, мол, дегенерируются и не обладают способностью развивать культуру, в то время как представители многонационального коллектива непрерывно получают вдохновляющие культурные импульсы. В таких утверждениях культурная изоляция приравнивается к одноязычию, а нормальные активные культурные контакты — к многоязычию коллективу. Небольшой сдвиг понятий создает основу для демагогических утверждений, не имеющих, конечно,

ничего общего с действительностью. Конечно, народу, живущему в культурной изоляции, не избежать отсталости — даже если это такой большой народ, как китайский. Однако и бытовое сочетание многих языков само по себе положения не улучшит. Естественно, что производительность труда у многонационального коллектива выше, чем у мононационального, если этот последний совершенно равнодушен к работе. Однако в других случаях трудности при общении создают в рабочем коллективе предпосылки для дополнительного психологического напряжения.

Здесь можно сформулировать определенную закономерность — чем проще работа (например, копание канавы), тем меньше нужна точность при общении; чем сложнее работа (в руководящих учреждениях, юстиции, медицине и т. п.), тем выше должен быть уровень точности общения. Представим себе разговор с пациентом или своим ассистентом специалиста (хирурга, психолога, психиатра), не владеющего языком! Кто от такой ситуации выигрывает, каков этот выигрыш и какова его цена?! (Вспомним в этой связи описанный в «Падомью яунатне» трагический случай в Рижском родильном доме, в котором свою печальную роль сыграли также трудности преодоления языкового барьера. — О. Б.).

Причиной психологического напряжения могут стать также различия в темпераменте и поведенческом стереотипе партнеров коммуникации. То, что для русского будет проявлением оживленности, эстонец воспримет как агрессивность, а естественную для эстонца воздержанность русский может считать нежеланием вступать в контакт. Русский уже при второй-третьей встрече доверяет новому знакомому факты своей биографии, в то время как с точки зрения эстонца это просто неприлично. Учитывая все это, было бы наивно ожидать, что во многонациональном коллективе быстро сложится единый и полноценный психологический климат. Психологические проблемы двуязычных и многонациональных коллективов являются очень сложными, их следует основательно и компетентно изучить и описать, чтобы в последующем стала возможной серьезная терапия и профилактика этих проблем.

Самым естественным можно было бы считать двуязычие детей в смешанных семьях, однако часто именно эти дети не являются двуязычными — разве не из-за того, что двуязычие — это все-таки трудная психологическая задача?

Дети из смешанных семей могут у нас выбрать национальность отца или матери или же считать себя русскими в соответствии с языком, используемым в семье, даже если ни один из родителей не является русским. Здесь выражается демократия выбора. Однако на самом деле выбор отнюдь не является таким уж простым и неproblemатичным. Нередко смешанные семьи у нас преподносятся как высший тип семьи, свободный от национальных предрассудков. Но почему же процент разводов смешанных семей у нас выше среднего, и так уже достигнутого мирового уровня? Распад семьи создает устойчивые комплексы как у родителей, так и у детей. Распад смешанной семьи сопровождается возникновением также национальных предрассудков, выражающихся как антипатия по отношению к конкретной народности. В ситуации принудительного выбора и у ребенка могут возникнуть национальные комплексы. И, хотя количество счастливых смешанных браков достаточно велико, тем не менее статистика разводов остается статистикой, свидетельствующей о проблемах тех семей, в которых жизнь сложилась отнюдь не в соответствии с наивной теорией.

Уровень развития детской речи прямо связан с общественным положением родителей: представителям элиты общества и интеллигенции легче преодолеть трудности, вызванные двуязычием — в интеллигентной семье больше считаются с проблемами самого ребенка, ищут пути решения этих проблем (обучают детей дома, посвящают им больше внимания, воспитывают в более духовной атмосфере). Ребенок овладевает двуязычием легко или без видимых осложнений, если оно развивается как бы само по себе, без организованного принуждения, играя, когда вто-

рой язык воспринимается ровно до той степени, до какой это на данный момент возможно. Однако совершенно невозможно надеяться на такую непринужденность в детских садах, где принята организованная ориентация на двуязычие.

Идиллические теории языковой ассимиляции предлагались неоднократно, некоторые из них даже отражены в художественной литературе. Однако на самом деле резкая смена языка и культуры может привести к некультурности, преодолеть которую в лучшем случае удастся за несколько поколений.

Необходимо принять во внимание также психологическое напряжение, создаваемое исторической памятью о той грубой кампании руссификации, которую проводила царская Россия в конце прошлого века. Даже малейшая нетактичность в языковых вопросах, не говоря уже о сомнениях в культурных возможностях эстонского языка, оживляет и эти воспоминания.

6. ВЫВОДЫ

В настоящее время в Эстонии существуют два языковых коллектива — эстонскоязычный и русскоязычный. Среди проживающих в Эстонии русских мало таких, кто интересуется эстонской национальной культурой. Теперь выросло уже второе поколение мигрантов, для которых земля их проживания является только рядом труднопроизносимых географических названий, а культурная жизнь — далеким и чужим явлением. Изменит ли в этой ситуации что-нибудь введение массового двуязычия эстонцев? Оно может стать поводом для перехода на русский язык в рабочих коллективах. Однако это не изменит культурную ситуацию. Предполагает ли теория вместе со всем другим также нивелиацию национальной культуры, отказ от культурной жизни на эстонском языке? Одной из целей двуязычия ведь является большая интеграция общества с опорой на то, что русский язык станет вторым родным языком для всех нерусских народностей Советского Союза.

Такая односторонняя пропаганда двуязычия является более чем сомнительной. Столь же сомнительной является также идиллическая интеграция, если между коренным населением и русскоязычной национальной группой существуют слишком большие культурные и языковые отличия. Наука утверждает, что, чем больше отличия в культуре и языке двух языковых групп, тем больше возможны полуязычие и полукультурность. Интегрирующие процессы приводят к образованию редуцированной, а не единой и обогащенной культуры. Попав на орбиту редуцированной культуры, человек уже не чувствует себя свободным в атмосфере ни одной из культур.

Вторым, менее радикальным путем интеграции многонационального общества является культурная мотивация, стимулирование взаимных культурных интересов при сохранении родного языка.

В современной психолингвистике и педагогике особенно подчеркивается, как важно получить образование на родном языке (об этом неоднократно высказывалось также ЮНЕСКО). Недаром в сельских школах автономных советских республик считается важным дать первоначальное образование на родном языке.

В свете каких директив вопрос об основном языке преподавания будет рассматриваться в школе ближайшего будущего? Новое положение об общеобразовательных школах — яркий образец бюрократического мышления — дает мало надежд на установление равноправия между русским языком и языками национальных республик. Этот документ даже на бумаге не предполагает необходимости серьезного изучения национального языка в школах с русским языком обучения.

В настоящее время эстонцами довольно остро ощущается приниженное положение своего языка. Уже несколько лет многие торжественные и официальные мероприятия в Таллине проводятся на русском языке, присутствие эстонской культуры во всех этих актах, открытиях и награждениях

зачастую ограничивается девушками в национальных костюмах, преподносящими цветы докладчикам.

В практически всех государственных документах, начиная с Конституции Эстонской ССР и кончая законом об образовании, роль эстонского языка в общественной жизни республики сформулирована неясно, мимоходом, как бы нехотя. Неужели еще не ясно, что язык — это не мелочь, а первое условие существования людей, и ему необходимы предусмотренные законом признание и защита.

Человека делает человеком в первую очередь его язык и его культура. У нас уже стало обыкновением не учитывать в достаточной мере то, что советскую культуру составляют многие различные национальные культуры, что нет такого понятия как «советский язык» и что почти половина жителей Советского Союза думает на одном из нерусских языков. С официальной точки зрения национальные, культурные и языковые отличия являются чем-то чуть ли не постыдным, сведения об этом в данных переписи населения приводятся на самом последнем месте. Очевидно, так и создается основа для представления о том, что с такими несущественными явлениями можно не считаться при создании новых шахт, портов и космодромов. Трудовые ресурсы подсчитываются по количеству голов и рук, перебрасываются с одного конца страны на другой, как будто у людей нет ни родины, ни родного языка, ни человеческих взаимоотношений, ни могил предков; источник сильных положительных эмоций и психического равновесия — национальное самосознание и гордость за родной край — официально девальвированы и считаются чем-то отрицательным или несущественным.

Мигранты переселились в Эстонию (или были переманены сюда) в поисках лучших условий жизни. Большинство из них материальные блага ценит выше, чем удовлетворение духовных потребностей (об этом, кстати, свидетельствует сопоставление посещаемости русского и эстонских театров Таллина. Этим объясняется также недостаток интереса к владению другим языком, языком местной культурной жизни. Что же произойдет с культурой, если в соответствии с тезисом о пропорциональности половина культурной жизни Таллина будет отдана на усмотрение мигрантов? Между прочим, и в Эстонской ССР публиковались статьи, в которых указано, что главным стимулом миграции являются бытовые условия, и отмечена низкая профессиональная квалификация многих переселенцев. Однако миграцию в целом авторы этих статей оценивают положительно, активно используя априорный тезис, что уже само по себе является хорошим все, что способствует расширению двуязычия и образованию многонациональных коллективов. Проблемы культурной жизни в этой связи совсем не учитываются, а элементарная способность к общению в процессе труда на другом языке громко объявляется владением вторым языком. В этом случае механическое смешение национальностей выдвигается в качестве самоцели, а последствия никого серьезно не интересуют и не исследуются.

Однако начинать следовало бы именно с изучения культурных и психологических последствий. Полное двуязычие означает существование личности в двух культурах. В какой степени целые народы способны продолжительное время справляться с такой задачей — это очень серьезный вопрос. Полное двуязычие либо редуцирует наиболее яркие и важные черты личности, либо же удваивает их. Последнее пока происходит только с интеллектуальными, высокообразованными людьми.

Противоположный полюс двуязычия образует полуязычие и полукультурность, т. е., отсутствие культуры. Эти противоположности связаны гораздо теснее, чем у нас

обычно принято полагать. С этим следует по крайней мере считаться и необходимо быть готовыми обеспечить работой большие массы молодежи с низкой языковой интеллигентией (если программа двуязычия все же будет реализована). Представляется, что такая ситуация отчасти уже имеет место; свою отнюдь не благодатную роль при этом сыграло также крайне скромное место родного языка в программе средней школы. — О. Б.).

В странах, в которых существует проблема воспитания и образования иноязычных детей (например, в Швеции, Канаде), рекомендуется сперва полностью развить навыки родного языка и только после этого браться за интенсивное обучение второму языку. Овладение вторым языком рекомендуется начинать со второго-третьего класса, так как форсирование этого обучения приводит к отрицательным результатам.

Высказанные здесь мысли находятся в почти полном противоречии с тем, как двуязычие и результаты его распространения до сих пор подавались нашей печатью. У нас на эти проблемы смотрят весьма поверхностно, в качестве аргументов используя неоспоримые политические директивы. Возможно, кое-кто будет даже удивлен, что не все так просто, что дитя человеческое — не винтик, который можно ввинтить, где и как захочется. Может быть, даже трудно поверить всему вышесказанному — столько положительных примеров двуязычия можно найти в литературе и даже в жизни. Так-то оно так, и все-таки: 1) на самом деле все еще гораздо сложнее (если окажется, что не так, то все-таки разумнее сперва исследовать сущность дела и уже потом принимать решения, а не наоборот, как у нас часто делается); 2) отдельные положительные примеры не могут служить основой для обобщений, так как они не дают настоящего представления об истинном положении в разных слоях общества, чаще всего положительные примеры дают материально обеспеченные семьи ведущих работников или интеллигенции, речь же идет о всеобщем двуязычии; 3) для нас характерна склонность переоценивать свои возможности и упрощать сложные проблемы (это можно сказать и о многих родителях, преувеличивающих лингвистические способности своих детей).

По многим причинам отношение к двуязычию не является достаточно серьезным. Во-первых, считается неприличным упоминать, что у нас существует национальный вопрос. Во-вторых, советская социология до сих пор по уровню развития занимает одно из последних мест в мире. Как известно, эту науку у нас долгое время причисляли к буржуазным псевдонаукам (так же как и кибернетику, генетику, семиотику и др.). Поэтому мы не имеем достоверной информации, например, об отношении советских людей к языковым проблемам. Долгое время реальную ситуацию и проблемы замешали лозунги и призывы, и людям теперь нелегко определить, где их собственные мысли и трудности, и где лозунги (то, что обычно отвечает в массовых опросах и при переписи населения).

Наука не является всемогущей, но ее выводы все-таки более полезны, чем пустой оптимистический энтузиазм. В наши дни для науки бывает характерным большой скептицизм, чем хотелось бы увлеченным фантастам. Это касается также двуязычия и задачей науки является не снабжение оптимистическими прогнозами по поводу предполагаемых результатов очередных кампаний; наука должна, среди прочего, и предупреждать.

С наблюдениями и размышлениями о двуязычии кандидата филологических наук Матти Хинта ознакомил ОЯРС БУШС

Перевод В. НАУМОВА

ВИСВАЛДИС ЛАМС

РОКОВОЙ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

(НАБРОСКИ ВОСПОМИНАНИЙ, ФАКТЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ С. ПЕРЕСЛЕГИНА «В ОЖИДАНИИ ВНЕЗАПНОГО НАПАДЕНИЯ», ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЖУРНАЛЕ «РОДНИК», 1988 Г., № 4.)

Это было время, когда поколение прошедших сквозь первую мировую войну спрашивало в растерянности: «Неужели люди так ничему и не научились?», а подростки, мои ровесники, каждый день искали в газетах новости «про войну». Ишь ты — маленькая Япония берет за горло огромный Китай! Испанская трагедия, события в Судетах, а вот грозовые облака сгустились и над собственными границами. Институт картографии Мантиниекса благополучно издает карту Польши солидного размера — Мантиниексу не приходится согласовывать, нет у него плана на бумагу и типографское оборудование. Все под рукой — были бы покупатели! А Польша терпит молниеносный крах, одна Варшава отчаянно сопротивляется. А как поступит Советский Союз — защитник правды и свободы, революционный боец против реакции, империализма, фашизма? «Атпута» («Отдых») помещает фотографию: советские и немецкие офицеры чуть ли не по-дружески стоят у советского танка в Брест-Литовске. Это как же?!

Долгие годы нам растолковывали — гениальный Сталин дальновидно выиграл время (так он сам оправдывался 3 июля 1941 года); позже эпитет «гениальный» исчез, осталось утверждение — будто политика все же была мудрой и Советский Союз в 1939 году не был готов к войне. За это цепко держатся и нынешние «осветители белых пятен». А факты свидетельствуют о противоположном — и причем не подслушанные у «враждебных нам голосов», не распаянные в спецфондах и архивах, а доступные каждому, кто умеет читать по-латышски, по-русски или по-немецки.

В советской печати многократно обсуждалось нежелание Англии и Франции заключить соглашение с СССР о совместных действиях против Гитлера. Жертвой примиренческой политики уже пали Австрия и Чехословакия, у Литвы оторвали Клайпедский округ, очередь была за Польшей, близорукие (а не «гениальные», как Сталин) руководители которой еще год назад подружились с Гитлером, присмотрев себе приграничные районы завоеванной Чехословакии. Может быть, Носцицкий, Бек, Смигли-Ридз пытались «выиграть время для подготовки»? Но вот уже немецкие танки рокочат у польских границ. Для англичан и французов этого достаточно — они недвусмысленно заявляют Гитлеру, что на сей раз не пойдут на уступки. Но в переговорах с Советским Союзом они «тянут резину». До сих пор приходится слышать, что в этом крылся злой умысел: направить немецкую агрессию на Восток. Но как это могло бы произойти? Ведь Польшу защищал (как выяснилось, только на словах) договор с Западом, а к совет-

ским рубежам немцы могли приблизиться, только захватив Польшу.

Обычно на это отвечают: Запад указал Гитлеру путь через прибалтийские государства. Летом 1939 года стало окончательно ясно, что удар Третьей империи нацелен на Польшу, а Прибалтика Гитлера пока мало волнует; в Берлине были уже утверждены далеко идущие планы, и там никто не стал бы слушать советчиков — это хорошо понимали и в Париже, и в Лондоне. Задуманный блицкриг требовал огромных пространств для масштабных маневров. Это проявилось в летних событиях 1941 года, когда главный удар группировки «Норд» обошел Латвию и Эстонию. Польша должна была стать плацдармом для нападения на СССР.

Так почему же Запад избегал сотрудничества со Сталиным? Несомненно, английское и французское правительства знали о массовых репрессиях в Советском Союзе, знали, что обвиняются в шпионаже и гибнут тысячи невинных людей. Естественно, что на Сталина и на сталинизм государственные мужи Запада смотрели с предубеждением, развеять его был бессилен даже М. Литвинов. Во внешней политике слова не должны расходиться с делами, которые вершит внутренняя политика. И гитлеровцы громко выступали в защиту социализма, народных прав и... мира. Многие из «осветителей пятен» все никак не усвоят эту истину.

В 1939 году отношения между крупными державами обострились настолько, что все решала сила, а следовательно — у кого больше танков, пушек, самолетов, обученных солдат. И в этом отношении Советский Союз, с некоторыми оговорками насчет качества оружия, был самой мощной военной силой в Европе, если не во всем мире.

Могли привести факты.

В декабре 1987 года в ежемесячной газете «Горизонт», издаваемой в ГДР, был перепечатан фрагмент статьи, опубликованной в издании Министерства иностранных дел СССР «Международная жизнь» в октябре того же года. Статья была написана бывшим послом СССР в ГДР Владимиром Семеновым. Он приводит такие цифры: Советский Союз предлагал Англии и Франции выставить против Гитлера 136 дивизий с 5000 тяжелых орудий, от 9000 до 10 000 танков и от 5000 до 5500 боевых самолетов. Для сравнения вот вам другие цифры. Они частично взяты из публикаций в советской прессе, частично из книги генерала вермахта Меллентина «Танковые сражения в годы второй мировой войны». Она переведена на русский язык и издана Воениздатом. Во время весеннего наступления немцев в 1940 году, окончившегося полным разгромом Фран-

ции, было задействовано 109 дивизий и почти четыре с половиной тысячи танков. Полемизируя с западными историками, которые подчеркивают огромный перевес немецких танковых войск, Меллентин пишет, что в действительности перевес был на стороне французов, англичан и бельгийцев — насколько помню, около 5000 танков. Итак, общее количество всех танков, участвовавших с обеих сторон в битве за Францию, все же меньше того, что мог выставить один лишь Советский Союз.

Фашисты напали на Польшу с 60 дивизиями; о танках Меллентин пишет, что и в численном, и в техническом отношении они оставляли желать лучшего — большая их часть была оснащена крупнокалиберным пулеметом, и это по сути были танкетки. Этот тип гусеничных машин уже в 1940 году исчез из армий всех стран: огневая сила у него была минимальная, броня — слишком тонкая. Но против польских всадников и они были страшным оружием. Летом 1941 года в рижских кинотеатрах показывали документальный фильм «Sieg im Westen», на экране польская кавалерия атаковала танки, кадры были потрясающие...

Сведения о немецкой и польской авиации можно почерпнуть в книге, изданной в ГДР и в свое время поступившей в продажу и у нас, в рижском магазине «Глобус». Это «История воздушных войн» Олафа Грелера. Тогда в Люфтваффе всего насчитывалось 3500 боевых машин, из них в захвате Польши участвовало 2093, остальные самолеты, главным образом истребители (723) оставались «про запас» на западе. Гитлер не мог оставить промышленный Рур без обороны против английских и французских налетов, и потому в Польше участвовали в военных действиях 456 истребителей. И им пришлось поработать, чтобы справиться с польской авиацией — 463 боевыми машинами. У польского стандартного истребителя PZL—11 шасси не втягивались, радиотелефона не было, по части вооружения и скорости он сильно отставал не только от «мессершмитта», но и от английской машины «Gloster-Gladiator», взятой на вооружение авиацией Латвии. И все же, погибая, 114 этих истребителей прихватили с собой на тот свет 120 немецких самолетов, а всего за польскую кампанию немецкая авиация потеряла 521 самолет. Надо отметить, что немецкие бомбардировщики сбросили на Варшаву 5818 тонн металла и взрывчатых веществ — а на Дрезден за все время войны было сброшено бомб «всего» 1989 тонн. Во время бомбежек в сентябре 1939 года на Польшу обрушилось 19 589 тонн металла и взрывчатых веществ. Польская кампания вовсе не была для немцев увеселительной прогулкой. За победу пришлось

заплатить потерей 25% самолетов, несколькими танковыми кладбищами — в тех местах, где части Гудериана столкнулись с польскими противотанковыми орудиями.

А если сравнить политическое, хозяйственное и военное положение Германии и СССР осенью 1939 года? Политически — Гитлер перед лицом всей мировой общественности показал себя бесчестным провокатором, нарушителем торжественно подписанных договоров. Даже друг Гитлера Муссолини все оттягивал открытое присоединение к такому компаньону, Балканы были настроены враждебно по отношению к Гитлеру. Властелином Румынии Каролом управляла его фаворитка — госпожа Лупеску, еврейка, и румынская нефть была для Гитлера недосгаема. Скандинавия отменялась, от Германии, Швейцария и страны Бенилюкса — тоже. Изолированная от мира Третья империя пока обходилась накопленными резервами; тот же Меллентин свидетельствует, что особенно тяжелое положение сложилось в военной промышленности из-за недостат-

ция. Интересна оценка гитлеровских военных специалистов, которую Грелер критикует как преувеличенно низкую: в 1941 году они считали совершенно устаревшим советский тяжелый бомбардировщик, транспортную и морскую авиацию, несколько выше оценили разведывательную и штурмовую авиацию, а истребители и часть средних бомбардировщиков были признаны хорошими. И это — полтора года спустя после сентября 1939 года, полтора года, за которые немецкие конструкторы и техники сильно продвинулись вперед, а всем известно, как быстро развивается военная техника, когда этого требуют условия. Итак, осенью 1939 года советская авиация в техническом отношении несколько отставала, но численно, а также по гарантированности резервов могла заткнуть за пояс все полторы тысячи немецких самолетов. Гитлер мог еще перебросить сколько-то истребителей с западного фронта, построить кое-что впопыхах. И это — все...

Вот сколько самолетов было построено за год (по Грелеру):

	СССР	Англия	Германия	США
1939 г.	10 382	7940	8295	2414
1941 г.	11 950	20 094	12 414	19 433

ка никеля. Французские нападения на Саарбрюкен были в общем-то беззубыми, западная демократия еще не созрела для настоящей войны. Невзирая на это, Гитлер тогда не мог бороться с Советским Союзом. Как аргументированно доказывает в своей книге, опираясь на анализ документов Третьей империи, вышеупомянутый автор из ГДР Грелер, вся гитлеровская военная стратегия строилась в расчете на блицкриг, и для восстановления сил, долговременных военных действий ей не хватало ресурсов. Это подтверждают и Меллентин, и начальник немецкого генштаба Хальдер в своем дневнике (который в русском переводе выпущен Воениздатом). Итак — вермахт «весь выложился» в Польше, итак — вопросом жизни и смерти для Гитлера была передышка, итак — Сталин оказался настолько любезен, что позволил ему перевести дух.

Нарком иностранных дел СССР Литвинов немало постарался, чтобы сплотить демократические силы Запада, к тому же в то время, не обращая внимания на «показательные процессы» (уничтожение соратников Ленина), вдохновенные идеями социализма широкие круги западноевропейской общественности смотрели на Советский Союз как на надежду всего человечества. Усилия наркома иностранных дел СССР Литвинова по сплочению демократических государств, активной поддержке им идей Союза Наций снискала широкий резонанс во всем мире. Летом 1939 года Красная Армия нанесла такой удар по Японии, что во все последующие годы, даже тогда, когда немцы вышли к Волге, самураи не осмеливались напасть на наш Дальний Восток. Советская промышленность не испытывала недостатка в ресурсах, Урал для авиации того времени был недосгаем, резервы живой силы были почти в два с половиной раза больше, чем у Германии, советский танк был боеспособнее немецкой танкетки, самолетов — больше. Советские истребители в техническом отношении отставали от «мессершмитов», но стояли выше PZL-11, а это была удачная конструк-

ция. В то время срок боевой службы самолета на фронте (если не считать прямых потерь) был от одного до двух месяцев. Как долго немецкая промышленность могла бы выдерживать это?

Несомненно, боевую мощь Советских Вооруженных Сил заметно подорвало начавшееся в 1937 году уничтожение военного руководства; Красная Армия стала похожа на великана, у которого сталинизм непрерывно уничтожает серое вещество. Доказательство тому — финская война. И таким образом «выигранное время» использовали вплоть до лета сорок первого года...

О прибалтийских государствах надо сказать особо.

Литва, утратив Клайпеду, не могла быть друженна Гитлеру. Правительству Латвии Гитлер весной 1939 года предложил союз (в Латвии намечалось разместить немецкий гарнизон), и единственный, кто из всего кабинета Ульманиса выступил за этот союз, был министр финансов А. Валдманис. Его незамедлительно отправили в отставку. Власть Карлиса Ульманиса не была фашистской диктатурой, как это часто утверждают без всяких оснований. Ульманис получил конституционное подтверждение своему правительству и после того разогнал парламент; латышских фашистов — «перконькрустов» он безжалостно преследовал. Ульманис сотрудничал с представителем еврейского финансового капитала М. Дубиним, предоставил убежище бежавшим из Германии евреям (например, Лео Блеху), потому-то гитлеровцы окрестили его правительство плутократически-жидовской кликой. Во время своей диктатуры Ульманис старался расширить социальную базу, и в одном отношении народ действительно проявил единство: и прогрессивно настроенные рабочие, и новые хозяева на бывших баронских землях, и горожане, все, за редким исключением, не доверяли гитлеровской Германии и надеялись, что в трудную минуту им поможет СССР. Это и побудило

Ульманиса откликнуться на внешнюю политику Литвинова — мирное сосуществование, невмешательство во внутренние дела других стран. У Латвии были четыре кадровые дивизии, которые в случае войны развернулись бы в восемь, хорошо поставленная военная подготовка, немалое количество летчиков. В Лиенае строили бипланы, монопланы производились на ВЭФе. Вооружение мало соответствовало требованиям современного военного дела; Сталин в навязанном пакте о взаимопомощи предусматривал, что Латвия получит советское оружие. Если бы этот пакт честно соблюдался, прибалтийские государства могли бы вместе противопоставить гитлеровской агрессии около 20 боеспособных дивизий, которые бы надежно прикрыли правый фланг белорусской группировки. Но в 1941 году военные кадры Латвии были жестоко репрессированы, а те, кто уцелел, искали спасения у гитлеровцев. У них не было другого пути. Среди широких слоев населения царил растерянность, а также — возмущение и гнев.

На мой взгляд, пакт 1939 года о ненападении между СССР и Германией можно было и заключить: при нападении Гитлера на Польшу Советский Союз как член Лиги Наций был вправе денонсировать договор, это даже было его моральным долгом. Но пакт остался в силе. Невообразимое благородство в отношениях с агрессором! Оно бы не помешало в отношении Финляндии и прибалтийских государств. В 1938 году, когда западные страны в Мюнхене передали Чехословакию в буквальном смысле этого слова, СССР провозглашал, что готов в одиночку оказать помощь жертве агрессии. Стало быть — рисковал в случае войны остаться в одиночестве. А в 1939 году, когда Англия и Франция уже объявили войну Германии и героически сражалась Польша, вдруг оказалось, что Красная Армия совершенно не готова воевать. Все это малоубедительно.

Видимо, как в свое время варшавские растяпы, и «гениальный» Сталин был готов сотрудничать с Гитлером в расчете на бывшие владения царской империи. «Гений» попался на приманку и упустил возможность взять за горло фашистского агрессора. А может, следует говорить о «родстве душ» — оба хладнокровно уничтожали коммунистов, пока в июне 1941 года Сталин не пережил нервный шок, а в апреле 1945 года Гитлер не оплакал отступничество Геринга. Да, духовное предательство болезненно даже для убийц. Но Гитлер толково использовал выигранное время — прибрал к рукам Европу, ее промышленность и ресурсы, и немецкому народу уже не приходилось хлебать суп из кормовой свеклы, как в прошлую войну. Немецкая военная машина работала на шведских подшипниках и румынском горючем, в меню немецких солдат были греческие фиги, французский коньяк, португальские сардины... И, когда Гитлер счел страну достаточно готовой к войне, он предъявил советскому народу счет, подписанный Молотовым и акцептированный Сталиным. Весной 1941 года от Балтийского до Черного моря вдоль границ СССР выстроилась армия — в четыре раза сильнее той, что была в 1939 году, закаленная в боях, опытная победами, свято верящая в «гений» фюрера. А с ней — союзники Гитлера, которые стали таковыми, когда во внешней политике нашей страны Литвинова сменил Молотов.

Аморальная политика всегда была палкой о двух концах.

ВРЕМЯ РАБОТАТЬ ПОРЯДОЧНО

Беседа журналиста **ОЛЕГА МИХАЛЕВИЧА** с и. о. заведующего отделом спортивной и оборонно-массовой работы ЦК ВЛКСМ Латвии **АНДРИСОМ ДЗЕНИСОМ**.



АНДРИС ДЗЕНИС

— Андрис, мы беседуем с вами во время, когда в нашем обществе пересматриваются многие, казавшиеся ранее неизменными положения. Но новое мышление, как утверждают наши публицисты, требует мужества. Наверное, честность всегда требует мужества. Так что давайте попытаемся честно и мужественно ответить на некоторые вопросы, связанные с вашим основным занятием, то есть с военно-патриотическим воспитанием. Да нужно ли оно в миролюбивой стране вообще?

— И еще как нужно! Я бы сказал — оно вообще важнее всех остальных направлений. Может быть, не очень удачно звучит сам термин, в котором на первое место выставлено слово «военно-», в чем можно согласиться с автором статьи «Можно ли добиться мира оружием?» («Родник» № 7—88). Но вот практический смысл этой работы... Ну скажу о себе. Я тоже не из военных, не из военной семьи. Родом из Екабпилса. В центре там у нас парк воинам-освободителям. Выйдешь погулять — с одной стороны — братское кладбище, с другой — памятник, ветераны войны все в орденах ходят... Это же история наша! И знать ее надо. Вот и все воспитание. Памятью к жертвам, к несправедливостям, но и к подвигам, победам. Помнить и знать. И так должно быть всегда, независимо от времени. Сейчас, кстати, я замечаю другую крайность. Хватит, мол, о красных латышских стрелках, о наших солдатах Великой Отечественной, о них уже достаточно всего сказано, захоронения их и так на высоком уровне, давайте теперь заниматься благоустройством захоронений воинов-шведов, немцев и других. Но разве

можно сказать о чем-то в истории: хватит? На Малой Югле вместе захоронены наши и немецкие солдаты. Вроде бы нехорошо. Коробит как-то. Но Историю не подправишь. Она такова, какова она есть.

— Итак, воспитание памятью... Тут я ваш безоговорочный сторонник. Но это как раз относится ко второй части термина — «патриотическое». Ну а как быть с военнизированными играми типа «Зарница» или «Орленок»? Что помимо желания нажать на настоящий курок могут воспитать они у молодого человека?

— Мне кажется, не надо преувеличивать значения таких игр. Мы все в детстве как-то воевали. Кто-то был разведчиком, кто-то и шпионом, но всем хотелось быть «нашими» и победителями. Кстати, наши воины-интернационалисты, возвращающиеся из Афганистана, дают этим играм оценку как ничуть не выходящим за рамки детских, хотя и организованных взрослыми и даже военными людьми. А вот спортивный элемент игры несет в себе несомненный, причающий к организованности, дисциплине, порядку, что не очень удается на обычных школьных занятиях. Думаю, что полезно это не только ребятам, но и девушкам. Разве спортивность фигуры, выправка, которую мы называем военной, хуже расхлябанности тела, вихляющей походки?

— Не вижу ничего плохого и в умении стрелять. Это вполне достойный вид спорта. Не выступаем же мы против такого древнего человеческого занятия, как охота. И ведь действительно надо как-то готовить к армии! Которая, кстати, на мой взгляд, носит очень гуманный характер.



ПОГИБ В АФГАНИСТАНЕ



ФОТО ВАЛТА КЛЕЙНСА

Да-да, я не оговорился. Гуманность заложена в самом армейском уставе. Подумайте, как в армии просто жить. Лично мне под конец службы казалось, что ничего лучшего и ожидать нельзя. Подумывал даже о продолжении армейской жизни. Я знал, что утром меня вовремя поднимут, что меня будет ждать завтрак, что мне не дадут замерзнуть или ходить оборванным, грязным, что мне надо здороваться с товарищами... Это же прекрасно. Может быть, мне повезло, не было у нас никаких «дедов», никто никого не избивал, мы были именно товарищами.

— Тогда мне остается вам только позавидовать. Хотя мне подобная «гуманность», лишенная свободы выбора, не представляется столь уж ценной. Скорей уж нивелирующей личность. Впрочем, опыт общества складывается из опыта отдельных его членов, и исходя из своего, просто не удается увидеть столь идиллическую картину.

— Конечно, в армии бывает всякое, сейчас об этом много пишут. Ведь в нее иногда попадают люди сомнительных качеств. Как и в другие сферы деятельности. Между прочим, нашему взводу тоже однажды пришлось косить траву на газоне метров в сто длиной... руками. И теперь я думаю: принесло ли это нам какой-нибудь вред? Вот сейчас мы знаем: руками все можно, даже траву выкосить.

— Не хотелось бы мне оказаться тогда на вашем месте... И не могу сейчас не удержаться от такого вопроса. Результат воспитательной работы никогда не бывает очевиден, его не взвесишь, не пощупаешь руками. И все же: какие-то показатели, очевидно, существуют, хотя бы, как это принято, для отчета о проделанной работе. Из чего они складываются?

— А я и сам не знаю. Никто с меня никаких отчетов не требует. Да и не до них. Успевать бы то, что требуется от меня по нашему цековскому плану. Вот могу перечислить несколько пунктов. Проведение научно-практической конференции по латышской стрелковой дивизии, встреча с молодыми воинами запаса — интернационалистами, походы по местам боевой и трудовой славы, вахта памяти, неделя пограничных войск, туристские слеты, день латышских красных стрелков, старты надежд... Мероприятия, как видите, практически каждые два-три дня. Вот она и отчетность. А что касается ребят, непосредственно принимающих участие в этих делах, то ведь многие и теперь просятся вновь в походы, в которых уже побывали. Хотя походы эти не так уж просты. Например, зимой целую неделю на лыжах с ночевками в палатках в самые лютые морозы, у ребят и обморожения небольшие были. Но все равно говорят: еще хотим. Значит, им это нужно.

— С любителями походов ясно. Понятно и другое: обширный круг вопросов одному человеку охватить с заметной отдачей невозможно, нужны помощники, в данном случае, очевидно, добровольные. Из кого они у вас складываются?

— В основном это, безусловно, ветераны войны, люди в годах. Может быть, с этим в какой-то степени и связано то, что на наши мероприятия молодежь как-то ходит меньше и меньше. Но это общая проблема комсомола. Видимо, больший интерес вызывают новые объединения, новое ведь всегда притягательней.

— Теперь это называют «кризис доверия», доверия, подорванного долгими годами «комсомольской работы». А что происходит сейчас с клубом бывших «афганцев» «Саланг»? Существует ли он вообще?

— Существует. И числится при ЦК комсомола Латвии. Хотя не скажу, что этот вопрос из самых для меня приятных. Мы в свое время предложили «афганцам» войти в советы молодых воинов запаса. Но рижан эта форма не устроила, они хотели свой клуб. Обсуждение

его создания длилось довольно долго, было и критическое выступление в наш адрес по этому вопросу в газете «Советская Латвия», которая провела по этому вопросу «круглый стол», правда, «забыв» пригласить на него представителей ЦК комсомола... В конце концов устав клуба, смету и т. п. утвердили, выделили довольно обширное помещение на бульваре Райниса, 2, которое ребята с энтузиазмом взялись осваивать. Правда, методы освоения помещений выбраны, ну, скажем, чересчур лихие, сейчас даже приходится принимать меры по возвращению жильцам пропавших из подвала дров. Что из всего этого получится — сказать не берусь, жаль только, что неплохая, наверное, затея создать у себя место для встреч молодежи, для спортивных секций выливается в такую форму. На мой взгляд, то же самое без излишних организационных проблем можно было сделать в рамках совета молодых воинов запаса.

— Может быть, как раз старые рамки и пугают? Сколько в их пределах делалось глупостей, несообразностей. Хотя я, наверное, не совсем точно выразился. «В рамках», скорее, почти ничего не делалось.

— Я не был бы столь категоричен. Военно-патриотическим воспитанием всегда занимались и занимаются множество людей и какая-то отдача от этого несомненно должна быть. Другое дело, что она недостаточна. И причины этого для меня ясны. Прежде всего они в распыленности ответственности за это дело. Подумайте, на кого только не навешивается у нас военно-патриотическая работа! И комсомол, и ДОСААФ, и гражданская оборона, и школа, и военкоматы, и Госкомспорт... Людей много, но у каждого, получается, времени остается только на писание планов и отчетов для своей и других организаций. Все должно быть в одних руках.

— И тогда это поможет преодолеть недоверие молодежи к самой армии? Не секрет ведь, какие трудности испытывают с набором военные училища, на что идет кое-кто из призывников, чтобы «не вычеркнуть из жизни» два-три года службы? Не следует ли искать причины этому в самой армии? Большие надежды возлагаются сейчас на предстоящую всесоюзную партконференцию. Как по вашему, коснется ли она изменений в этой области?

— Думаю, да. Хотя одним махом, конечно, ничего не решится. Изменения требуются очень большие. Вот вы говорили о свободе выбора. Конечно, когда отечество в опасности, выбора нет. В мирное же время человеку хочется каких-то гарантий в том, что раз уж идти на службу, то в такое место, которое выбрал сам. Касается это и призывников, и будущих офицеров. Понятно, что всех на корабле «Комсомолец Латвии» не разместишь, военные части могут быть расположены и там, куда никому не захочется. Но здесь и может сыграть свою роль система соревнования. Допустим, в военкомате мне предложат, а я выберу сначала род войск, затем специальность, регион, наконец, и конкретное место службы, скажем, погранзаства имени латышских красных стрелков. Ага, скажут мне, а какие у тебя отметки в школьном аттестате? А как со знанием языков? Смотри, по такому-то показателю ты еще можешь вытянуть на регион, если подналяжешь на учебу (работу) и так далее. Конечно, это хлопотно, это требует действительной систематической работы, а не ее видимости. Многие, наверное, пошли и в военное училище, если бы знали, что прежде всего от них самих будет зависеть их будущее место службы, от них, а не от чьей-то сторонней воли. Ну в самом деле: пойдет ли латыш в военное училище, если в перспективе может на долгие годы лишиться Латвии? Словом, работа в этом отношении, безусловно, должна упорядочиться.

— Упорядочиться... От понятия «стать порядочной»?

— А почему бы и не истолковать так?

ФИЛОСОФИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

Предисловие

Этот очерк отнюдь не плод чисто академических занятий и теоретических размышлений. На его написание в большой степени повлияли мои детские впечатления и переживания в пору оккупации Латвии немецкими фашистами. Мне исполнилось 11 лет, когда началась эта оккупация. Наша семья жила тогда на Рижском взморье, но я довольно часто ездил с отцом в Ригу, главным образом в музеи и на всевозможные выставки.

События тех лет навсегда врезались в память, хотя ни в семье, ни среди наших близких родственников никто не был репрессирован. Время это запомнилось мне не только из-за материальных трудностей и лишений, которые усугублялись с каждым годом войны, — несмотря на свой юный возраст, я мучительно переживал ограничения свободы, дискриминацию по отношению к своему народу, его языку и культуре. Это чувство буквально преследовало меня.

Кто не мечтает в детстве быть среди первых, ни в чем не чувствовать себя ущемленным. Всякую несправедливость и обиду в отношении своей семьи, народа ребенок ощущает намного острее, чем взрослый. Может, поэтому я все еще отчетливо помню увиденную летом 1942 года на блестящих чисто вымытыми стеклами (а не тусклыми, как сейчас) парадных дверях гостиницы «Метрополь» табличку: «Вход только для германских подданных» — надпись шла сначала по-немецки, а затем по-латышски. Мне ничего не нужно было в этой гостинице. Куда с большим удовольствием прогулялся бы по Экономическому магазину (после войны он назывался Особторгом, а теперь именуется Рижским центральным универсамом), но и тут красовалось такое же объявление. Хотя, попади я внутрь, мне оставалось бы только любоваться выставленными товарами, потому что на имевшиеся у меня тогда деньги — рейхсмарки или оккупационные марки — там ровным счетом ничего не продавалось.

Но именно у подъезда совершенно не нужного мне отеля я впервые понял одну вещь: «Если так будет долго продолжаться, то я и при желании не смогу приспособиться к существующему порядку, усердие и покорность мне не помогут. Я все равно останусь человеком второго сорта — как латыш, а не немец».

В то время даже дети кое-что смыслили в большой политике. Я регулярно читал газеты и слушал последние известия по радио на латышском языке лет с девяти, особенно с сентября 1939 года, и наряду с этим кое-что узнавал от отца, который слушал русское, английское и немецкое радио. И еще я жадно ловил разговоры взрослых, в том числе моих дедов — они уже в начале июня 1941 года поспорили на бутылку водки, будут немцы на Иванов день в Риге или нет. Дед со стороны матери говорил, что непременно, а дед со

стороны отца, которому было сильно за восемьдесят, верил газетам и утверждал, что войны вообще не будет, а если она и разразится, то военные действия развернутся на территории Германии.

Знал я и о репрессиях советских властей в 1940 и 1941 годах против множества реальных или воображаемых врагов Советской власти в Латвии, и о репрессиях немецких оккупантов против советских активистов. Из разных источников мне было известно как о расстреле латышских офицеров в Литенском лагере, так и о расстрелах евреев в занятой немцами Риге (в Бикерниекском лесу и Румбуле). Прислушиваясь ко взрослым, я о многом догадывался — например, о состряпанных Вышинским процессах тридцатых годов в Советском Союзе и массовом уничтожении там латышских революционеров и общественных деятелей в 1937 и 1938 годах.

Но все это на уровне общей информированности. Среди моих знакомых и близких друзей нашей семьи никто не пострадал. Да и в одиннадцать—двенадцать лет дети, как правило, еще настолько заняты собой, что могут не обращать внимания даже на великие злодеяния, если те напрямую не затрагивают их самих или родню. Другое дело — видеть собственными глазами сопровождаемые вооруженным конвоем группы евреев с нашивками спереди и сзади желтыми звездами, бредущих стуча деревянными сандалиями по мостовой (ходить по тротуарам евреям было запрещено) — на работы за пределами гетто. Официальная пропаганда трубила о том, что в «советский год» (июнь 1940—июнь 1941) евреи организовывали и осуществляли всеческие мерзопакости против латышей, подготавливали списки людей, подлежащих аресту и высылке. О том, что 14 июня 1941 года среди жителей Латвии, высылаемых «в края не столь отдаленные», были и тысячи евреев, а также немало русских и представителей других национальностей, оккупантские издания, конечно, умалчивали.

У всех местных еще свежи были в памяти и высылка 14 июня, и акция против латышских офицеров, вот почему в самом начале оккупации зерна пропаганды пали на взрыхленную, благодатную почву, и не только среди детей находились готовые внимать подобным речам. Чем иначе объяснить тот факт, что широкие круги ответственности остались глухи к уничтожению тысяч советских активистов и десятков тысяч евреев, и многие из тех, кто стрелял по ни в чем не повинным людям, — большей частью стрелявшие были подонки общества — подчас открыто хвастались своей грязной работой. Во второй половине оккупационного периода, особенно с 1943 года, люди как бы очнулись от состояния шока, в который их ввергли события бурного лета сорок первого, и стали более трезво смотреть

на происходящее вокруг. В них зрела ненависть к гитлеровскому режиму, но они по-прежнему боялись сталинского террора гораздо больше, чем насилия гитлеровцев. Поэтому немало прогрессивно настроенных людей, всей душой ненавидевших гитлеризм, ни в коей мере не врагов социализма, под занавес оккупации бросили свои дома, родину, чтобы только не очутиться вновь под пятой сталинщины.

Да, летом сорок второго еще помнилась июньская высылка предыдущего лета, когда у нас в доме, как и во многих других семьях, ложились спать, держа наготове упакованные чемоданы и не затевали больших постирушек, но... но при виде изможденных от голода евреев, занятых мощением улиц, прокладкой канализационных канав или вдесятером волочивших, толкавших перед собой нагруженные доверху повозки, в детский ум невольно закрадывалась мысль: «Может, и есть среди них преступники, заслуживающие такого обращения. Но неужели все одинаково виноваты? И кто же определил вину каждого? Их ведь не судили, значит вина отдельного человека не доказана. А вот расстреливают их без суда, это точно».

Я уже понимал, что оккупационные власти неодинаково относятся к разным национальностям. У немцев, не только германских подданных, но и местных, прибалтийских, был целый ряд привилегий. Положение латышей и проживавших в Латвии литовцев, русских и представителей ряда других народов было более-менее сносным. За поляками велся строжайший надзор, а цыган и особенно евреев подвергали массовому уничтожению. Я был выходцем, если можно так сказать, из слоев интеллигенции низшего разряда. В буржуазной Латвии мой отец был учителем основной школы, мать — служащей в отделе социального обеспечения. Может, отец был достоин и большей карьеры, но знаю, но в тридцатые годы у него была репутация «красного Зариньша», поскольку, будучи дирижером любительского хора и занимаясь еще и другими общественными делами, он отказывался вступать в военизированную организацию защитников режима — айзсаргов и не выпивал с городскими тузами. Тем не менее в 1940 году, после восстановления Советской власти в Латвии, мои родители отклонили предложения занять более заметные должности, потому что не симпатизировали сталинскому режиму и к тому же чувствовали приближение войны.

Слои, к которым принадлежали мои родители, в период оккупации были в большей безопасности, чем в советский год, ничто не угрожало их жизни и свободе. Обывателей, которые не были советскими активистами, евреями или бродячими цыганами, гитлеровские власти обычно преследовали лишь если те нарушали законы и многочисленные пред-

установления, что же касается сталинского террора, то он был непредсказуем. Секира часто падала на головы случайных людей и не щадила даже сторонников режима. И все же в «немецкое время» я не испытывал ни малейшей благодарности к оккупантам за то, что меня милостиво причислили к людям второго сорта, а не третьего или четвертого.

В своих пропагандистских изданиях оккупанты не раз писали, что немецкая армия спасла народы Прибалтики от новых депортаций, что следующие высылки были бы столь же безжалостными, как и первая, но только еще более массовыми, и в результате весьма значительная часть латышского народа оказалась бы рассеянной по просторам Сибири. То что высылка 14 июня, которую наши инстанции замалчивали десятилетиями и лишь в последнее время стали упоминать, да и то в общих чертах, действительно была не единственной, доказывают события весны 1949 года. Правда, очередная депортация конца марта 1949 года происходила более гуманно, что ли, чем в сорок первом, так как семья не раскалывалась. Большинство высланных в 1949-м остались живы, и многие впоследствии получили возможность вернуться на родину.

В среде, где я рос, сообщения о том, что «красные» будто бы замыслили последующие депортации, воспринимались без удивления. Станет ли власть, которая аналогичным образом поступила с миллионами русских и украинцев, церемониться и стесняться в средствах, когда речь идет о гораздо меньшем числе латышей? Но никто из людей, окружавших меня, не испытывал поэтому какой-либо признательности гитлеровской армии. Им хорошо было известно, что фашистская Германия начала войну против Советского Союза не за тем, дабы облегчить участь проживавших здесь народов, а побуждаемая пангерманским эгоистическим шовинизмом, ради завоевания чужих территорий и решения в той или иной форме проблем Германии за счет покоренных народов.

Уже в то время я почувствовал желание прояснить чрезвычайно запутанные, противоречивые события, процессы и явления, происходившие на моих глазах. Узнать скрытые пружины этих процессов, понять, куда они ведут. Но удовлетворить подобный интерес было нелегко, тем более ребенку. Доступным мне официальным источникам информации я не доверял, до других добраться было сложно. В том, что выходящие на латышском языке издания оккупантов, и прежде всего газета «Тэвия» (Отчизна), пишут неправду, я нисколько не сомневался. Но мне казалось, что уж самим себе — в больших германских газетах и книгах лидеров национал-социализма — немцы, видимо, лгут меньше. Вот только такие материалы и в 1943, и в 1944 годах мне были недоступны — я недостаточно знал немецкий, а тем более европейскую историю новейшего времени. Как-нибудь, с помощью словаря, удалось бы, конечно, перевести написанное, но отдельные понятия предложения, пусть даже целые абзацы, не внесли бы никакой ясности — мне было неведомо, к чему они относятся, о чем идет речь и какие подтексты в них скрыты. А те члены моей семьи, которые владели немецким и достаточно хорошо разбирались в истории, отказывались переводить и растолковывать эти тексты, заявляя, что на такое

дерьмо жалко времени, если же я хочу выучить язык, то мне следует подыскать немецкую книгу получше.

Лишь спустя годы и годы, когда я стал втрое старше, окончил исторический факультет и приобрел более основательные познания в языках, сбылась мечта моего детства. Я написал диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук на тему «Идеология восточной экспансии немецкого империализма в период фашизма (1933—1945) и ее проявления в Латвии». Защита состоялась в 1971 году.

Защитившись, я продолжал изучать эту проблему и, естественно, захотел опубликовать материалы своих исследований. Но не нашлось издателя, и не по причине личных взглядов людей, к которым я обращался, а ввиду существовавших инструкций и предписаний. По правилам того времени публикации о национал-социализме не могли содержать точных цитат из работ Гитлера и его единомышленников и последователей, да еще с указанием источников, так как считалось, что тем самым предоставляется трибуна врагу. Мне советовали заменить цитирование пересказом, а толкование текстов — бранью.

Согласиться с такого рода рекомендациями я никак не мог. Я считал тогда и продолжаю считать сегодня, что подлинное разоблачение германского фашизма предполагает достаточно обширный и недвусмысленный показ, в чем состояли замыслы его адептов, как, с помощью каких средств эти замыслы претворялись в жизнь. Убежден, что брань и уничижительные эпитеты не заменяют научной аргументации. Ни один тезис не становится более убедительным от того, что его высказывают в категорической форме.

Другие мои консультанты говорили, что, поскольку немецкий фашизм разбит и повержен во всех его ипостасях, он изжил себя как таковой и незачем уделять внимание таким элементам гитлеровской идеологии, как стремление подчинить всю культурную жизнь нуждам пропаганды, культ вождя, черносотенный национализм и шовинизм, «подстройка» общественной жизни к интересам милитаристских кругов и т. п. Мол, эти проблемы все больше уходят в прошлое вместе с породившим их и окончательно раздавленным национал-социализмом, ворошить их не след, и все это не должно занимать ни самого автора, ни его читателей. Мне посоветовали обратиться к более актуальным вопросам.

Для меня это было неприемлемо. До сих пор не могу согласиться с такой странной аргументацией. По моему убеждению, в мире по-прежнему много насилия и несправедливости, и только всесторонняя борьба с этим злом может помочь искоренению или хотя бы уменьшению его. Но чтобы бороться со злом, его надо знать в лицо. Разумеется, сегодня в мире нет таких одиозных террористических режимов, каким был гитлеризм. Но на земном шаре, и прежде всего на Среднем Востоке, все еще есть страны, где правящие круги больших и могущественных народов порабащают малые и слабые народы с целью удушения их национальной культуры и ассимиляции населения. По-прежнему в ряде стран Латинской Америки, Африки и в других частях света отсутствуют даже элементарные демократические свободы. В государствах, где доминирует исламский фундамента-

лизм или фанатизм иного толка, вся политическая и культурная жизнь подчинена интересам узких группировок. Дискриминация людей по национальному или расовому признаку — животрепещущая проблема в Южно-Африканской Республике и Израиле. Демократическое общество может успешно развиваться лишь при одном условии — если широкие круги общественности знают, какие опасности подстерегают демократию и последовательно ведут с ними борьбу. Поэтому преступления немецкого фашизма, а также тезисы и аргументы, выдвигавшиеся в их обоснование, рано предавать забвению. Но, увы, моя позиция тогда никого не убедила — я хочу сказать, никого из тех, кто волен был решить вопрос об издании моего труда.

В последние два—три года в жизни нашего общества, в том числе и в общественных науках, происходят положительные сдвиги. Видимо, этими переменами и продиктовано предложение, которое я получил от журнала «Родник»: редакция хотела бы предать гласности, причем в приемлемой для меня форме, некоторые результаты моих исследований германского фашизма. Пересматривая собранные когда-то материалы, наброски и текст диссертации, я пришел к заключению, что публиковать что-либо из этого без каких бы то ни было изменений нецелесообразно. Я ведь писал свою работу, сообразуясь примерно с теми публикаторскими возможностями, которые существовали в первой половине семидесятых годов. Сегодня, как мне кажется, нет нужды во многих инскажаниях и лавированиях, можно привести больше реальных фактов. К тому же за время, прошедшее после написания диссертации, кое в чем эволюционировали и мои взгляды, многое прояснилось, подверглось уточнению. Появились и новые материалы. Поэтому я счел необходимым предоставить журналу новый текст, который бы отражал мою сегодняшнюю точку зрения на рассматриваемые вопросы и вводил в оборот все доступные мне сейчас источники, а также данные предыдущих исследований. Только так и можно, по-моему, в рамках относительно краткого очерка дать читателю максимально ясное представление о затрагиваемых проблемах.

У читателей молодежного журнала я прежде всего хотел бы пробудить самостоятельную мысль. Желаю им самостоятельно разыскивать дополнительную информацию по этой теме или по крайней мере повысить свой уровень образованности в области истории и усовершенствоваться в иностранных языках — только так они смогут ориентироваться в той информации, которая окажется им доступной. Кто не хочет или не в состоянии учиться на опыте предыдущих ошибок и трагедий человечества, тому суждено испытать их вновь, и заслуженно. Меньше всего я хотел бы, чтобы моя работа стала для читателей единственным источником сведений, оценок и взглядов по этим столь противоречивым и сложным вопросам. Буду рад, если хотя бы некоторые читатели этого труда обратятся к штудированию первоисточников и ознакомятся с публикациями других авторов. Главное же — никому не доверять слепо, ничего не брать на веру, не размышлять, сопоставлять, взвешивать и приходиться к собственным выводам.

(Продолжение следует).

ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕСПУБЛИКИ И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Начнем с вопроса. Есть ли в нашей жизни такая сфера, которой почти что не коснулось возрождение ленинских принципов? Где поперек пути изучению и признанию реальности стеной встали старые пропагандистские стереотипы!

Это — сфера государственного права суверенных республик, входящих в СССР, сфера прав наций — и по Союзу в целом, и в каждой республике. Вместо ожидаемого обновления идеологии в Латвии наблюдается нечто противоположное — снижение теоретического уровня в этой сфере.

Вот передо мной газета с речью первого секретаря Рижского горкома партии тов. Клауцена на майском пленуме сего года. Ну-ка, вслушаемся и поразмыслим. «... нет единого мнения о положении в деле интернационального воспитания и о тактике этого дела. Раздаются голоса, будто партийные комитеты... слишком драматизируют ситуацию. Говорят так: мы за интернационализм, но его стало слишком много, надо бы поменьше интернационализации. Чаше всего это происходит от боязни, что интернационализация могла бы угрожать сохранению и развитию национальной культуры».

Ясно, что тут ошибочно противопоставляются национальное и интернациональное. Да еще введена совершенно новая категория — «интернационализация», будто это какая-то политическая акция или кампания. А что же это такое? Судя по тому, что ее вроде бы можно измерять количественными показателями типа «больше — меньше», в этой так называемой интернационализации мало места отведено сфере развития сознания. Очевидно, имелось в виду механическое смешение наций в разных дозах, и эти дозы вроде бы должны фиксировать уровень интернационализма. Только одно забыто: в наше время интернационализм требует прежде всего высокого национального сознания, и вообще высокого уровня духовности, которые бы обеспечили возможность ощутить заботы и радости другого народа, как свои.

А вот еще цитата из той же речи. Обращаясь к тем, кто не хочет, чтобы этой интернационализации было слишком много, тов. Клауценс говорит: «Забывать о том, что национальные традиции становятся действительно прогрессивными только тогда, когда обогащаются опытом других народов». И тут у меня возникает вопрос: да кто же кого обогащает в наших конкретных условиях, по мнению тов. Клауценса! Может быть, национальные традиции приезжих становятся «действительно прогрессивными» при соприкосновении с латышской культурой? Так, что ли! Хотя контекст речи наводит на мысль, что имелось в виду совершенно противоположное: что национальные традиции республики недостаточно прогрессивны, и пребудут такими, если не обогатятся культурным опытом, который непременно принесут выходцы из Псковского округа или еще из каких дальних краев. Так ли это? Способны ли на это люди, которые в большинстве своем утратили свою национальную культуру и в этом отношении заслуживают сочувствия, поскольку, очевидно, дискорфорт в области культуры, наряду с социальным дискорфортом, стал одной из причин, побудивших покинуть родной край! Сомнительно, может ли в результате современной миграции произойти соприкосновение с воистину интересной культурой России, причем на более высоком уровне, чем при традиционных формах контакта, которые доказали свою жизнестойкость и развивались еще во времена младолатышей по восходящей, а в более скромных масштабах существовали куда раньше.

Я позволяю себе так резко критиковать ход рассуждений тов. Клауценса потому, что вижу в них не попытки устранить причины неблагоприятной ситуации в области национальных отношений, а желание утвердить status quo — как нечто универсальное и требующее продолжения. А это значит — продолжение и нашей прежней социально-экономической политики, и национальной политики, взлелеянной сталинизмом и «брежневизмом». Ее негативное влияние

на основную нацию Латвии и отчасти на приезжих очевидно.

Старания не столько ликвидировать причины межнационального напряженного положения, сколько смягчить его последствия, видны и из другого обстоятельства. Это — чрезмерные надежды на интернациональное воспитание. Конечно, оно необходимо, но только идеалисты могут думать, что сознание изменит материальную реальность. Если бы это было так, то немецким пасторам удалось бы убедить латышских крепостных, что нигде так хорошо не живется, как под ярмом курземских и видземских помещиков. Глядишь, и без 1905 года обошлось бы... А ведь не обошлось.

Идея народного содружества — одна из самых пленительных идей, с этим все согласны. Но ее приходится держать без употребления, откладывая до лучших времен, пока хоть один народ на своей исторической территории будет чувствовать давление другого народа. Некто прислал в «Циню» письмо о том, что в Даугавпилсе латышская культура, мол, цветет и зреет, поскольку в витринах магазинов стоят книжки на латышском языке. Такие утешения наивны. Народу, имеющему опыт национальной жизни и национальной государственности, мало возможности петь, плясать и читать литературу на родном языке. Ему необходимо хранить и формировать структуру своей национальной жизни, структуру быта и среды, в конце концов — реализовать свое право на социалистическую государственность. В том числе и для прибалтийских народов.

Стало быть, взаимоотношения наций затрагивают не только культуру, хотя и на нее влияют. Вы заметили, как много энергии латышские поэты тратят на идею, которая кажется сама собой разумеющейся, — на подтверждение национального равноправия своего народа! А слушатели тратят столько же духовной энергии на сопереживание. Это необходимо, потому что народ ощутил угрозу деформации своей национальной структуры. Но если судить объективно, это необходимое вечное возвраще-

ние к теме Родины часто затрудняет продвижение вперед нашего искусства, освоение им более сложных кругов сознания, в которых привольно чувствуют себя те, кому не приходится заботиться о своих элементарных правах. Почему наш народ обречен до сих пор тратить огромную энергию на защиту своей духовной системы? И где же взять энергию на все остальное!

Из-за неупорядоченности прав Латвийской ССР, в том числе и права на международные культурные связи, систематически задерживается выход латышской культуры на мировую арену. Профессиональные или коммерческие поездки за границу наших делегаций и отдельных представителей, касается ли то спорта, культуры, науки или чего другого, не имеют правового подтверждения и потому зависят фактически от причуд всесоюзных организаций или даже отдельных чиновников. Знаете ли вы, с какими унижениями столкнулись наши всемирно известные хоры, «пробивая» себе заграничные гастроли? Путешествие с бутылкой «Рижского балзама» под мышкой к дамам из всесоюзного объединения «Госконцерт» — такое начало пути представители хоров не сами выбрали, им его навязали, а иначе — никак... И до сих пор полноценное концертное турне латышского органиста, певца или инструменталиста по загранице — воистину неслыханное чудо, и как таковое оно и преподносится прессой, как будто международный обмен уже давно не стал будничной практикой мировой музыкальной жизни. К сожалению, в нем участвуют в основном те латышские музыканты, которые родились за границей, или выбрали себе спутника (спутницу) жизни именно оттуда, или как-то иначе, чуть ли не нелегально, попали туда.

Участью Латвии, и вместе с ней — других республик в международной культурной жизни мешает хотя бы та же теперешняя система, по которой граждане СССР делегируются на международные конкурсы исполнителей. То, что гражданину Латвии — представителю суверенного государства и музыкальной культуры европейского уровня — приходится сперва добиться звания лауреата всесоюзного конкурса, чтобы он мог представлять культуру своего народа за рубежом, попахивает дискриминацией. Это значит, что во многих случаях латышский музыкант должен приспосабливаться к музыкальному вкусу русских музыкантов, который доминирует в отборочном конкурсе и среди членов жюри. А значит, он вынужден проходить сквозь психологический фильтр другой национальной культуры.

Такие же ограничения прав суверенной государственности существуют и в других видах искусства, и не только в них. У наших спортсменов нет возможности защищать цвета флага своей республики на межгосударственных соревнованиях, в региональных турнирах, в конце концов — на Олимпийских играх, или хотя бы на так называемых Олимпийских играх малых государств. Таким

образом игнорируется статья 74 Конституции Латвийской ССР, в которой сказано: «вступать в отношения с зарубежными странами» и «принимать участие в работе международных организаций».

Но даже такой флегматичный народ, как латыши, не забыл, что когда-то их уровень самоопределения и государственного права был куда выше. Невзирая на критику общественного строя, он был выше в 20—30-х годах. Наше дело и наш долг — требовать, чтобы были подтверждены законом и реализованы в полном объеме предусмотренные Конституцией Советской Латвии права принимать участие в международной жизни как суверенной республике. В том числе нужно, чтобы жители Латвии имели право работать и учиться за рубежом, и чтобы это право было практически реализуемо.

Разумеется, вопрос о правах нации и республики нельзя сводить только к праву на национальную культуру, как об этом пишут даже в серьезных документах, а слово «культура» относится главным образом к песням и пляскам. Речь здесь идет о том, что уже по меньшей мере тридцать лет в теории и на практике оспаривается право нашей республики на своеобразное социально-экономическое развитие. Еще в мае этого года в материалах пленума ЦК КП Латвии хватало иронии по отношению к поклонникам «национального социализма». Но эта ирония запоздала. В Тезисах ЦК КПСС к XIX Всесоюзной партконференции «многообразии национальных форм социалистического общества» признано объективной реальностью. В свете этого решения особенно малопривлекательным кажется пленум ЦК КП Латвии 1959 года, который прервал реализацию суверенных прав, закрепленных в Конституции республики, под предлогом разоблачения померещившегося национализма. А теперь в документах майского пленума ЦК КП Латвии содержится призыв к ревизии роковых решений, принятых в июле 1959 года. И на том спасибо. Но вопрос не только в том, (цитирую) «были ли достаточные основания, чтобы обвинять отдельных товарищей в национализме» («Циня», 7 мая, стр. 1). Между прочим, с 1959 по 1962 год были сняты с ответственных постов около восьмисот латышей — членов партии. Вопрос куда важнее. Именно после июля 1959 года, когда первым секретарем ЦК КПЛ вскоре стал Арвид Пельше, началось гипертрофированное развитие промышленности, включилась «механика» слияния наций и начались осложнения в решении социальных и национальных проблем — а все это, в принципе, по сей день не пересмотрено и не осуждается. Десять лет спустя после рокового пленума, в шестидесятых, по сравнению с предыдущим десятилетием, вдвое увеличилось количество приезжих и достигло 147 тысяч, а объем капиталовложений в промышленности увеличился втрое.

В издании, выпущенном по заданию комиссии Госплана СССР и составленном группой московских экономистов в 1970 году, когда речь доходит до

использования ресурсов Латвии (см. «Прибалтийский экономический район», М., 1970), читаем: «Чрезмерная концентрация промышленности в Риге привела к серьезным трудностям по обеспечению водой предпринятой и населения, к сильному загрязнению атмосферы. Рабочей силы не хватает, хотя количество жителей города быстро увеличивается в результате механического прироста. Стабилизация города возможна только в том случае, если строительство предприятий не будет связано с увеличением числа рабочих мест. Недостаток рабочей силы в Риге увеличился и в связи с размещением новых крупных предприятий в пригородной зоне».

И это писали в 1970 году не так называемые националисты, а всесоюзные эксперты. Но с курса никто не свернул. Упомянем еще несколько имен. По личной инициативе Ивана Бондалетова, тогдашнего заместителя председателя Совета министров, начали проектировать абсурдный с экономической и демографической точки зрения Огрский комбинат. В 1966 году первым секретарем ЦК КПЛ становится Аугустс Восс. Видимо, избранный и руководимый им, давно уже жителем Москвы, социально-экономический курс до сих пор находит поддержку в определенных кругах в Латвии, иначе почему же он оказался одним из делегатов республики на вышеупомянутой XIX партконференции? Надеемся, что этот курс не получит поддержки конференции, но сам факт избрания такого делегата, на мой взгляд, сигнализирует о беспомощности перестройки.

Принципиальная нецелесообразность этого курса, к сожалению, до сих пор официально не подтверждена. Даже наоборот — огромные усилия тратятся, чтобы доказать, что гипертрофия промышленности и механическое слияние наций являются чуть ли не единственным гарантом социализма. Можно подумать, будто главная цель социализма — не новые, более гуманные человеческие взаимоотношения, а изменение национального состава жителей того или иного региона на вечные времена. Это было бы смешно, если бы не было трагично. Если механическое смешение наций было бы залогом успехов социализма, то Болгария или ГДР лишились последних шансов. Но наоборот — в Европе происходит стабилизация национального состава социалистических стран. Живущие или родившиеся в Румынии венгры теперь репатрируются и активно включаются в общественную жизнь Венгрии.

Деформация органического развития наших национальных республик в 60-х и 70-х годах не могла не сказаться на подготовке специалистов по изучению национальной культуры, традиций и истории — в области этнографии, археологии, мифологии, фольклористики, этнологии, этнопсихологии и т. д. Отнеслись с небрежением к подготовке специалистов и в области искусства — оперных режиссеров, балетмейстеров, дирижеров. Очевидно, положились на перспективы интернационализации в этом деле. Это бы еще можно

объяснить духом времени и никого не винить конкретно. Но мне все же хотелось бы знать, кто именно из бывших чиновников в Министерстве культуры в ответе, например, за двухлетнее запрещение исполнять ораторию Иманта Калниньша и Иманта Зиедониса «Поэт и русалка» без всякой причины, и как сложилась судьба этого чиновника в годы перестройки. Такое своеволие при решении судьбы произведения, способного действительно взволновать общество, и щедрость в оплате работ, соответствующих сиюминутной политической конъюнктуре деформировали понимание многими художниками, артистами, музыкантами смысла социального заказа в искусстве. И если мы сегодня самокритично признаем, что часть наших композиторов еще пребывает в социальной апатии, то надо назвать и виновника — 60-е и 70-е годы.

Последовательно замалчивалось или извращалось многое из того, что связано с культурным наследием Латвии межвоенного периода. Деформация прошлого по сей день влияет на деятельность многих латышских историков. Когда читаешь вышедшие в прошлом и этом годах брошюры цикла «Роковые годы Латвии», претендующие на откровенность, становится как-то странно. Кажется, что главной заботой авторов было доказать, что становление социалистической Латвии было не чем иным, как химически чистым и идеальным случаем проявления теоретических закономерностей классовой борьбы. Что в отношении между Латвией и Советской Россией и в их позднейшем союзе не было места ни сталинизму, ни волюнтаризму, и ни противоречиям. Ультиматум Сталина в 1940 году составил удобное ему новое правительство Латвии — неслыханный случай в отношениях суверенных государств! — преподносится

как шедевр деликатности в международных отношениях. Пакт Молотова — Риббентропа и немецкая репатриация для наших историков как бы не существуют. Но тогда даже детям, моим ровесникам, было понятно, кто придет на место репатриантов, которые поселились в оккупированной немцами Польше, и как крупные державы поделят между собой территории. Невообразимым кажется сообщить, что в мирном договоре, подписанном в августе 1920 года в Доме Черноголовых, правительство Ленина навсегда отказывается от территории Латвии. И зачем же говорить, что выборы народного Сейма проходили в присутствии воинских частей в 1940 году? И что в платформе-программе Блока трудящегося народа вовсе не было тезиса о вступлении Латвии в Советский Союз? И что это было решением не народного референдума, как это полагалось бы в таком важном вопросе, а только Сейма? И что латышских коммунистов, бывших подпольщиков, которых тогда было около тысячи, всеми способами старались держать подальше от дел, ибо те, кто фактически реализовал новую власть, чисто по-сталински им не доверяли? И что наши историки, в отличие от своих коллег из других научных центров СССР, продолжают утверждать, будто принудительная коллективизация сталинских времен, сопровождаемая массовыми репрессиями, была лучшим и единственно возможным путем для развития сельского хозяйства, то к ним полностью можно отнести французскую поговорку — продолжают игру из страха проиграть ее.

Но эту игру пора кончать, карты — на стол, тогда не будет казаться такой страшной мистическая «балтийская карта». Кто же заставил тысячи умных людей участвовать в любом сталин-

ском социальном психозе — в преследовании «врагов народа», «безродных космополитов», в разоблачениях, в уничтожении генетики и кибернетики, в выращивании кок-сагыза и топинамбура? Это был страх особога типа, который перекраивает человека — лишает его логики, внушает псевдоверу и псевдочувства. Веру в самими же людьми выдуманные версии, лишь бы согласовать реальность с догмой. Идеология возрождения требует отбросить все это. Куда мужественней признать, что реальность Латвии далека от идеала, чем стараться оправдать и объяснить ее неверными теориями.

Признаем откровенно — во времена сталинизма и «брежневизма» латышский народ не имел возможности свободно и в полной мере определить и реализовать суверенные государственные права своей нации и своей республики. Но мы можем это сделать теперь.

Потому, используя права творческих союзов оказать воздействие на законодательство, я обращаюсь к пленуму с предложением: просить о выработке такого законодательства, которое полностью бы раскрыло и точно определило суверенные государственные права каждой союзной республики, а также о их полной реализации в политической, экономической, национальной, социальной и культурной сферах в соответствии с гуманными принципами социализма. Именно это, а вовсе не умалчивания, будет ответом на предложения не обострять национальные отношения.

Если мы хотим, чтобы в Латвии процветало действительно гуманное социалистическое общество, то мы сами должны создать его.

31 мая 1988 года.



ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ. 1—2 ИЮНЯ 1988 ГОДА



A. Krievins
1. VI '88



A. Krievins

A. Krievins



A. Krievins

A. Krievins
1. VI '88



A. Krievins



A. Krievins

A. Krievins

АЙВАРС ОЗОЛИНЫШ

РАССКАЗЫ

ЭВОЛЮЦИЯ

Динозавры размножаются неторопливо. Так мучительно лениво, что меня повело в сон. Годы прошли, столетия миновали, пока эти животные — громоздкие, массивные, как заброшенные рыцарские замки: со съеденными ржой цепями подъемных мостов, с ужасами, крысами и подвалами, полными скелетов — все же сблизилось и сквозь метры и километры плотных слоев безразличной плоти возжелали друг друга. Неуклюже спариваясь, они боронами лап раздирали бока милых, оставляя рваные кровоточащие борозды, в боли и страсти трубно посылали свои вопли за горизонт, судорожно подергивали длинными тощими шеями с гребенчатыми, набитыми мелкими зубами головами — я был не в силах отвернуться и меня стошнило. Взмокший и усталый, я заснул, ибо знал — размножаются динозавры медленно.

Проснувшись, увидел: число динозавров увеличилось. Значит, лежал долго. Посевы овса успели проклюнуться и взойти, эти же — вновь искали друг друга и заторможенно соединялись. Повсюду — сколько доступно зрению — простиралась нечистоплотность, в грязи, причмокивая, возлились липкие тела, воздух, прослоенный миазмами, изгибался от сладостного рева, клетотание мешалось со всхлипами и острым визгом, ядовитые испарения закрывали дыхание, пар шел от покрытых слизью тел.

Сон наплывает как прилив. Я держусь. Теперь боюсь заснуть — я жду, когда динозавров будет столько, что затопчут меня; жду увидеть обросшую навозом колоду ноги над собой, жду, чтобы наконец-то прикрыть ладонями глаза. Это произойдет однажды, но, возможно, не скоро. У меня есть еще какое-то время, ведь размножаются динозавры не спеша.

СВОБОДА

И кирпичам больно. Он так мне и сказал:

— Ты что же, думаешь мне, обычному кирпичу не больно жить возле самого фундамента этой жуткой стены? Если так — ты ошибаешься: больно, ох, как мне больно...

Охотно поверил. Был светлым, одухотворенным, самочувствие — чистое, хрустальное, и не блеск буфетной горки, но вспышка кристалла, жаждавшего полной полноты. Изумился — зачем он тогда тут, почему не уйдет?

Он снисходительно покачал головой, улыбнулся моему нелепому вопросу:

— Знакома нам эта песенка. Ну ладно, пусть так, а что скажут остальные? И кто заткнет собой прореху? Ты?

Так мы и поговорили. Я скомканно поблагодарил, сказал, что, увы, мне некогда, потому что, видишь ли, мне пора дальше.

— Ну вот, сам видишь, — он махнул рукой, — и я тебе ничем помочь не могу. И ты мне не можешь. Никто нам не может помочь.

Тут заворчал кирпич — молчаливый сосед первого:

— Кончай копошиться. А то другим легче? Поприседай, если ноги затекли.

Оба закрыли глаза и успокоились.

А я дальше вдоль долгой длинной стены; она была такой высокой, что летающие над ней вороны казались лишь нервными галочками на полях тетрадки, а вороньи яйца, которые изредка вываливались из неплотно сплетенных гнезд наверху стены, падали долго-долго, пока не достигали земли, становясь мокрыми пятнами с мелкими осколками скорлупы как звездочками.

ПРОПУСК

Его взгляд ласковый и меланхоличный, как у пожившего, мудрого пса. Лицо обрамлено седыми бакенбардами, мягкая волна которых закрывает ослепительно белый воротничок. Фрак на нем сидит как влитой, туфли блестят как улыбаются. Он поощрительно кивает и предлагает выбрать один из разноцветных билиардных шаров. Шары катаются по обтянутой зеленым сукном плоскости тяжеловесного стола. Их три — черный, белый и красный. Какой выбрать? Береженого бог бережет — беру белый.

— Спасибо, — говорит он. — Ничего не поделаешь...

И тут я поднимаюсь в воздух, совершаю замедленное, расслабленное сальто назад, воздух пружинит как подушка, нежно, а сквозняк разворачивает меня и торжественно несет над зеленым столом мимо молочно-белого шара люстры в сторону вентиляционного люка. Люк открыт. Да вот, открыт.

— Постойте!

Но ботинки уже заползают в пустоту и, дребезжа, полы пиджака стремятся следом. «Что-то тут не так», — думаю я. «Происходит что-то неправильное». И меня охватывает праведный гнев.

— Эй, погодите! А если другой шар, а? Красный, хотя бы?

Вывернув голову назад, вижу — он разводит руками и виновато морщит лоб.

Я уже до половины там, плотные потоки воздуха гуляют в штанинах, пиджак обтягивает меня, тащит вглубь.

— Подождите!

Хочу сопротивляться, упираюсь ладонями в стену, смотрю на него.

— Черный! Эй, беру черный, вы слышите?

Он пожимает плечами, искренне растерян, трясет головой, не произносит ни слова. Я понимаю, что он не виноват, и мне становится жаль его.

Тяга усиливается, люк медленно, но неотвратимо всасывает меня. Ну что — уж если дело зашло так далеко — отпускаю руки, скрещиваю их на груди и отдаюсь требовательным объятиям. Перед тем, как полностью пропасть в темноте, вспоминаю, что забыл спросить — а зачем мне вообще этот шар? Оглядываюсь и успеваю увидеть: у него на глазах слезы, в руке белый платочек, он — добрая душа — мне им машет и улыбается грустно.

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ТАТЬЯНА НИКОЛЬСКАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТАЛАНТА

Произведения ЛЕОНИДА ИВАНОВИЧА ДОБЫЧИНА (1896—1936), талантливого и оригинального прозаика двадцатых годов, наконец дождался своего второго рождения. Добычин начал печататься в ленинградских периодических изданиях с 1924 года. Его первые рассказы были восторженно встречены «Серапионовыми братьями». Поддержал молодой талант и К. Чуковский. В 1927 году вышел первый сборник рассказов Добычина «Встречи с Лиз», заинтересовавший критику и читателей. Пожалуй, вернее всех удалось тогда проникнуть в добычинское видение мира Н. Л. Степанову: «Смысл, фабула рассказов просвечивает благодаря двум-трем намекам, столь же случайным и неподчеркнутым, как и остальные подробности, — писал он в рецензии, — благодаря этому по-новому воспринимаются знакомые темы провинциальной обывательщины».

Вторая книга рассказов Добычина «Портрет» вышла в 1931 году, когда литературный климат уже начал меняться. Эту книгу, также как и повесть «Город Эн», опубликованную в 1936 году, критика подвергла остракизму. На автора посыпались обвинения в формалистском пустословии, очернении действительности и прочих смертных грехах. Даже Н. Степанов, признавший Добычину, что из его рецензии были «выкинуты все положительное места», сопроводил серьезный анализ повести дежурными упреками.

Благодаря усердию палочной критики преждевременно оборвалась жизнь писателя, были прочно забыты его имя и произведения. В конце шестидесятых годов В. Каверин попробовал прорвать забвение, рассказав на страницах ленинградского журнала «Звезда» о творчестве и трагической судьбе Добычина. В текст воспоминаний ему удалось включить целиком один из рассказов писателя. Затем о Добычине написал теплые строки Г. Гор. Казалось, лед тронулся. Рассказы Добычина должны были появиться в готовившемся в Ленинграде сборнике, посвященном двадцатым годам. Но времена изменились. Сборник не вышел. Осталась без движения в одном из ленинградских издательств и заявка на издание сборника добычинских рассказов.

Лишь в 1987 году о Добычине вновь заговорили. В журнале «Огонек» были напечатаны воспоминания Марины Николаевны Чуковской — в доме Чуковских Добычин в последние годы жизни бывал почти ежедневно — и четыре рассказа из книги «Портрет». Третий номер журнала «Литературное обозрение» за этот год познакомил читателей с неопубликованным рассказом Добычина «Старухи в местечке», рукопись которого сохранил В. Каверин. Еще два рассказа Добычина напечатаны в четвертом номере журнала «Сельская молодежь». Теперь любители литературы смогут прочесть последнюю книгу Добычина «Город Эн». В 1936 году за выходом этой книги последовало собрание в ленинградском Союзе Писателей, превратившееся в

травлю Добычина, собрание, после которого автор книги исчез навсегда. Единственным человеком, заступившимся тогда за Добычина, был Михаил Леонидович Слонимский.

В конце шестидесятых годов я была в гостях в знаменитом писательском доме на канале Грибоедова, девять. Михаил Леонидович цитировал рассказы Добычина, особенно ему нравились первые фразы рассказа «Козлова»: «Электричество горело в трех паникадилах. Сорок восемь советских служащих пели на клиресе». Слонимский показал мне стопку добычинских писем из Брянска, где Добычин жил на Октябрьской улице в доме № 47. Добычин писал о разном: сообщал, что писательская комиссия в составе Козакова, Маргулиса и Чумандрина решила предложить ему комнату в Ленинграде на углу проспекта 25 Октября и Володарского — так назывались Невский и Литейный; делился замыслом своего нового рассказа «Растратчица», «который будет а) созвучен нашей эпохе, б) понравится Кузмину этому гордецу [...] Этот рассказ будет полон политики, будет парить в ерыгинских сферах. [Ерыгин — герой одноименного рассказа Добычина], но его пируэты будут цензурны». В одном из писем Добычин описывал собрание, имевшее место в его учреждении, — по образованию экономист, он служил в какой-то брянской конторе, — в другом спрашивал мнение о своем романе, присланном Слонимскому из Брянска; в третьем критиковал свой рассказ «Сорокина» и просил его не печатать; в четвертом сообщал, что в начале двадцатых годов увлекался прозой Л. Сейфуллина. В этих коротких письмах — сухих сообщениях, метких бытовых зарисовках, проглядывались одиночество и тоска их автора, прикованного к постылой службе, вынужденного жить вдали от литературной жизни.

Одиночество и тоска чувствуются и в подтексте его рассказов, а в повести «Город Эн» в тексте. И в рассказах и в повести автор отделяет себя от изображаемого. Выступая как фотограф и хроникер, с предельной достоверностью запечатлевает он мельчайшие подробности почти лишенных событий будней провинциальной жизни. Но внимательный читатель разглядит в кажущейся монотонности и приглушенной иронии и лирическую ноту, найдет, как бы случайно оброненные ключевые фразы, показывающие подлинное отношение автора к своим героям.

Повесть «Город Эн», по свидетельству друзей Добычина, автобиографическая. Она проясняет читателю не только тот мир, в котором формировался автор, но и подчас неожиданно, происхождение некоторых изблюбленных Добычиным литературных приемов. Так возводится в творческий прием близорукость героя: «Он обязательно должен рассмотреть предмет в .изи, вне общей перспективы, вне его соотносительности. Тщательно выбирая отдельные подробности, он показы-

вает их читателю как бы через микроскоп», — писал Н. Степанов.

Повествование ведется от лица школьника. Этим мотивирован лаконичный стиль, напоминающий подчас ученические сочинения: «Уже начинались экзамены. Был светлый вечер. Деревья цвели». Детская непосредственность героя показана через восприятие им художественной литературы. Подросток считает литературных персонажей живыми людьми и мечтает об общении с ними: «Вдруг, — ждал чинюгда в темноте, — когда вечером, кончив уроки, бродил, мне сейчас кто-нибудь, встретится: Мышкин или Алексей Карамзюв и мы познакомимся». Особенно важное место занимает в повести Гоголь, цитаты и реминисценции из которого рассеяны по всей книге. Мальчик, не замечая гоголевской иронии, мечтает о городе Эн, где все его будут любить. Полученный в подарок картонаж Адмиралтейства и красота впервые увиденной Риги, вызывают в его воображении «прекрасные здания города Эн». Для юного героя, тоскующего по теплу и дружбе, идеалом представляется дружба Чичикова и Манилова. К этому идеалу он тщетно стремится, и чтобы хоть немного приблизиться к нему, старается выражать свои чувства в стиле Манилова: «Серж, Серж, ах, Серж, — не успел я сказать, — Серж, ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя!» Детскому восприятию Гоголя противостоит казенное, которое кажется герою нелепым. Он смеется над преподавателями, учащими «будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы». Вторжение литературы в жизнь и уход от жизни в литературу, противостоящую тоскливому однообразию быта глубокой провинции, жители которой лишены подлинной духовности, помогает герою не слиться с окружающей средой, по мере своих слабых сил противостоять ей, но в то же время и усиливает его одиночество. Разочарованный в попытках найти друга повзрослевший школьник в финале повести уже не способен сравнить рассказы Добычина с рассказами Зоценко. Сам автор «Портрета» и «Встречи с Лиз» относился к Зоценко ревниво. По мнению Г. Гора, «холодный, закрытый юмор Добычина генетически более связан с юмором Флобера». В контексте европейского авангарда рассматривая прозу Добычина А. Битов, сопоставлявший его с Джойсом. Связь Добычина с Гоголем была проанализирована югославским литературоведом Дубравкой Угрешич. Ряд параллелей еще будет продолжен. Несомненно одно. Возвращение этого талантливого писателя читателю обогатит наше представление о сокровищнице литературы двадцатых—тридцатых годов.



ЛЕОНИД ДОБЫЧИН ГОРОД ЭН

Александр Павловичу Дроздову

1

Дождь моросил. Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались «паж». Блестели мокрые булыжники на мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. — Не оглядывайся, — говорила мне маман.

Тюремный замок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник богородицы скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней.

— Нет, в самом деле, — говорили они, — трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме.

Сморкаясь, нас обогнала внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку «Чичикова». В воротах все остановилось, чтобы расстегнуть «пажи», и дама-Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками. — Симпатичная, — сказала про нее маман.

Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика. — На проскомидию, — отсчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, кидил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За замком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил богородицу. Она была не тощая и черная, а кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С хор на нас смотрели арестанты. — Стой как следует, — велела мне маман.

Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула на нашу сторону и поклонилась. — Мадмазель Горшкова, — пояснила Александра Львовна, покивав ей.

Дама-Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды.

Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все встали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях.

— Не надо избегать их, — говорил он. — Бог нас посещает в них. Один святой не имел скорбей и горько плакал: «Бог забыл меня», — печалился он.

— Ах, как это верно, — удивлялись дамы, выйдя за ворота и опять принявшись за «пажи». Дождь капал понемногу. Мадмазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадмазель Горшковой, отбегали и, опять подсакивали. Я негодовал на них.

Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор взобрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бубнила басом. — Верно, верно, — соглашалась с ней маман и поколыхивала шляпой. Мадмазель Горшкова куталась в боа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама-Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом.

Простившись с мадмазель Горшковой, мы поговорили про нее. — Воспитанная, — похвалили мы ее и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочки, стоя на порогах, зазывали внутрь. — Завернем сюда, — сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин Л. Кусман. Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная Л. Кусман блеклыми глазами грустно оглядела нас. — Я редко вижу вас, — сказала она нежно. — Дайте мне «Священную историю», — попросила у нее маман. Все повернулись и взглянули на меня.

Л. Кусман показала на меня глазами, сунула в «Священную историю» картинку и, проворно завернув покупку, подала ее. — Рубль десять, — объявила она цену и потом сказала: — Для вас — рубль.

Картинка оказалась — «ангел». Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклеила

его в столовой на обои. — Пусть следит, чтобы ты ел как следует, — сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. — Миленький, — с любовью думал я.

2

Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой. Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложил бричку и отправились к помещику, и что там ели. Как Манилов полюбил его и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узнает об их дружбе и пожалует их генералами.

Чем увлекаетесь? — спросила у меня маман. Она всегда так говорила вместо «что читаете?» — Зови Цецилию, — сказала она, — и иди гулять. — Цецилия, — закричал я, и она примчалась, низенькая. Доставая фартук, она слезила в свой сундучок, который назывался «скринка». Проиграла музыка в замке и показался Лев XIII. Он был наклеен изнутри на крышку.

День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца стояла на окне у булочника, лоснилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра к-ца Митрофанова. Марш грянул. Приблизилась рота, и оркестр играл, блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахнул рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Л. Кусман приоткрыла свою дверь.

Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубаше с кружевом нес крест, ксендз выступал, надувшись. — Там, — произнесла Цецилия набожно и посмотрела кверху, — няньки и кухарки будут царствовать, а господа будут служить им. — Я не верил этому.

Вот, кажется, хороший переулочек, — сказала мне Цецилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей, он белел за ветвями. У его забора, полукругом отступавшего с улицы, сидели нищие. Цецилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Л. Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмивев. Шаги звучали гулко. — Наша вера правильная, — хвасталась Цецилия, когда мы вышли. Я не соглашался с ней.

Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне

и подтолкнул Цецилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в углы рта и, оттянув их книзу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цецилия закрыла мне лицо ладонью. — Плюнь, — велела она мне и закрестилась: — Езус, Марья. — Мы бежали.

— «Страшный мальчик», — озаглавил это происшествие отец. Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно.

Александра Львовна Лей уже три дня не приходила к нам, и за обедом мы поговорили о ней. Мы решили, что она «на ярактике». Мне прибавляли киселя два раза, чтобы силы мои, пошатнувшиеся от испуга, поскорей восстановились. На стене передо мной был агент от Л. Кусман. С пальмовой веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой.

Явился Шиборовский, фельдшер. С волосами дыбом и широкими усами, он напоминал картинку «Нищие». Поднявшись, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты. — В объятья Морфея, — пояснил с почтительностью Шиборовский, поклонившись ему вслед. — Располагайтесь здесь, — распорядилась, оставаясь за столом, маман. — Не стоит зажигать вторую лампу. — Истинно, — ответил Шиборовский.

Заблестели разные щипцы и ножницы. — Сегодня, — говорил он, чистя, — мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная. — И он рассказывал ее: как мы должны повиняться, выполнять свои обязанности. — Это верно, — согласилась снисходительно маман и приздумалась. — Ведь бог один, — сказала она, — только веры разные. — Вот именно, — расчувствовался Шиборовский. Он сиял.

Так рассуждающими нас застала Александра Львовна Лей. Мы рады были, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился. В семь часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил. Вбежали дамы, волновались и, пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали тихо. — Нет, а Лейкин, — засыпая, слышал я. — Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? — И они смеялись шепотом.

3

Снег лег на булыжники. Сделалось тихо. Цецилию мы выгнали. Она носила нашу религию, и это стало извещением маман.

Замок «скринки» сыграл свою музыку, папа Лев показался еще раз — в ермолке и пелерине. Растрогавшись, я решил распроститься с Цецилией дружески и под-

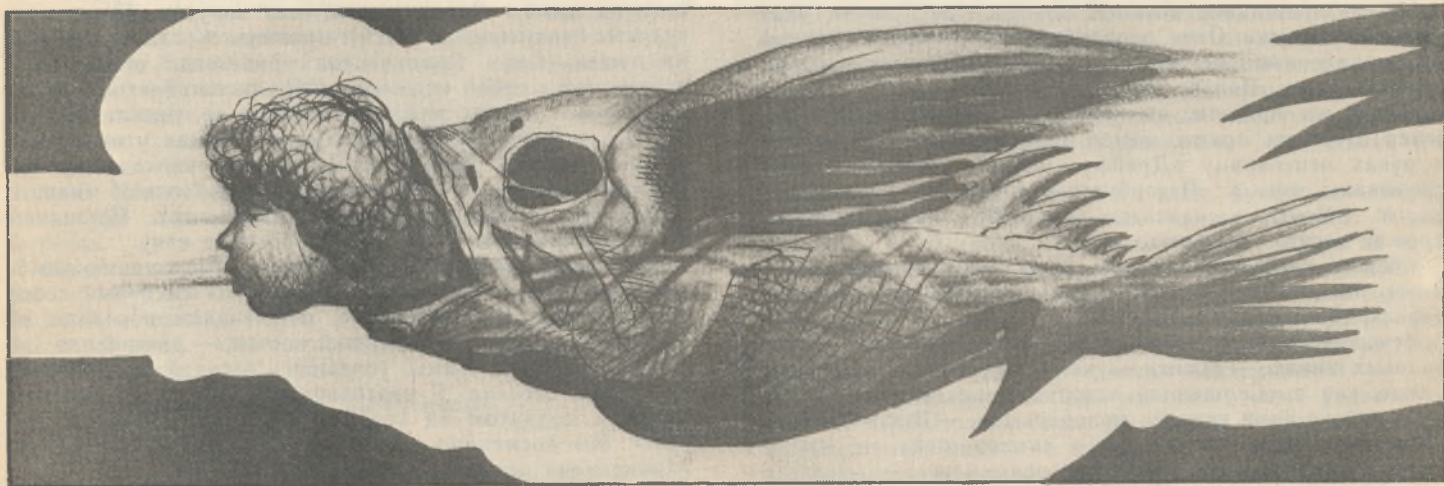


Рисунок Юриса Утанса

нести ей хлеб-соль. Я посолил кусок хлеба и протянул его ей, но она оттолкнула его.

Факторка Каган прислала нам новую няньку. Она была из униатов, и это всем нравилось. — Есть даже медаль, — говорили нам гости, — в честь уничтожения унии. — Рождество наступило. Маман улыбалась и уходила довольная. — Вспоминается детство, — твердила она.

Встречать Новый год ее звали к Белугиным. Завитая и необыкновенно причесанная, она прямо стояла у зеркала. Две свечи освещали ее. Встав на стул, я застегивал у нее на спине крючки платья. Отец был уже в сюртуке. Он обрызгивая нас духами из пульверизатора. — Как светло на душе, — подошла к нему и, беря его за руку, сказала маман. — Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?

Раздеваемый нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить себе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фемистоклюсом и Алкидом Маниловыми.

Утро было приятное. Приходили сторожа из присутствия, трубачисты и банщики и поздравляли нас. — Хорошо, хорошо, — говорили мы им и давали целковые. Почтальон принес ворох открыток и конвертов с визитными карточками: оркестры из ангелов играли на скрипках, мужчины во фраках и дамы со шлейфами чокались, над именами и отчествами наших знакомых отпечатаны были короны.

Маман, улыбаясь, подседа ко мне. — Нынче ночью, — сказала она, — я познакомилась с дамой, у которой есть мальчик по имени Серж. Вы подружитесь. Завтра он будет у нас. — Она встала, посмотрела на градусник и послала нас с нянькой гулять.

Пахло снегом. Вороны кричали. Лошаденки извозчиков бежали не торопясь. С крыш покапывало. — Вдруг это Серж, — говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам. Толстый Штраус прокатил, в серой куртке и маленькой шляпе с зеленым перышком. Он одной рукой правил, а другую держал у мадам Штраус на поясице. В соборе звонили, и все направлялись в ту сторону — посмотреть на парад.

Потолкавшись в толпе, мы нашли себе место. Солдаты притоптывали. Полицейские на больших лошадях, наезжая, отодвигали народ. Колокола затрезвонили. Все вострепнулись. Нагнувшись, в дверях показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебн. Парад начался. Кто-то шелкнул меня по затылку. В пальто с золоченными пуговицами, это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела (на обоях в столовой), и я умилелся. — Голубчик, — подумал я.

Мы возвращались военной походкой под звуки удалявшейся музыки. Отец, разъезжавший по разным местам с поздравлениями, встретился нам. Он посадил меня в сани и подвез меня. Нянька бежала за нами.

Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитер. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу «Дрейфус читает журнал» и рассказывал, что в Петербурге появились каучуковые шины. — Идете, — сказал он, — и видите, как извозчицьи дрожки несутся бесшумно.

Обедая, мы пожалели, что Александра Львовна не с нами. Мы послали за ней Пшиборовского, но она оказалась, бедняжка, на практике.

Вечером прибыли гости, и мы рассказывали им о резиновых шинах. — Успехи науки, — подивились они. Бородагы, как в «Священной истории», они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким. — Пас, — объявляли они. Один из них был «выходящей», и маман занимала его. — Я вчера познакомилась, — говорила она, — с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугиным, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас. — И Серж тоже, — сказал я.

Час их прихода настал наконец. Зазвенел коло-

кольчик. Я выбежал. Лампа горела в передней. Маман восклицала уже. Перед ней улыбались, сморкаясь и освобождаясь от шуб, дама-Чичиков и «Страшный мальчик».

4

Ангел в столовой понравился им. Инженерша осмотрела его сквозь пенсне и сказала, что он заграничный. Я рад был. Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь «собрание любви» и кушак с пряжкой «лира». — Вы ездите в крепость? — спросила она: — по субботам там бывают акафисты.

Серж был в зеленом костюме. Он взял меня за руку и, отведя, показал, что застежка штанов у него помещается спереди.

— Как у больших, — удивился я. Мы поболтали с ним. — Серж, — оглянувшись, спросил я его, — это ты один раз соорудил мне страшную рожу? — Он побожился, что нет. Я был тронут.

Отец вышел к чаю, когда гости отбыли. Страшно довольная, маман напевала и с хитреньким видом посмеивалась. — Знаешь, — сказала она, — мы условились с ней перечесть вместе Лейкина.

Я тоже был счастлив. Оставив их, я потихоньку убрался в гостиную. Там я притих возле печки и слышал, как сыплется хвоя. Фонарь освещал сквозь окно ветку елки. Серебряный дождик блестел на ней. — Серж, Серж, ах, Серж, — повторял я.

Потом мы с маман побывали у них. Целовались в передней. Инженерша представила нам свою дочь, гимназистку Софи Самоквасову. — Очень приятно, — сказала Софи. Взяв друг друга за талию, дамы прошли в инженершину комнату, называвшуюся «будуар». Я пожал Сержу руку: — Мы с тобой — как Манилов и Чичиков. — Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками. Серж открыл шкаф и достал свои книги. Мы стали рассматривать их. — Вот Дон Кихот, — показал мне Серж: — он был дурак. — Перед чаем Софи Самоквасова потанцевала нам с шарфом. — Прекрасно, — рукоплещая, говорила маман. — Серж хороший? — спросила она, когда мы возвращались. — Да, он воспитанный мальчик, — ответил я ей.

К Александре же Львовне, когда она к нам забежала, мы отнеслись теперь без интереса. Она обещала достать нам альбом с образцами сарпинков саратовской фабрики. Мы рассказали о нашей дружбе с Кармановыми.

Через несколько дней мы увиделись с ними на водосвятии. Солнце уже пригревало немного. Мы жмурились, стоя на дамбе. Внизу шевелились хоругви. Пестрелись туалеты священников. Елки темнелись. Когда застреляли из пушек, Софи Самоквасова прибежала откуда-то и притащила с собой инженера Карманова. Ростом он был ниже дам. — Очень рад, — восклицал он, раскланиваясь. Он был в форменной шапке. На пуговицах у него были якоря и топоры. Борода у него была всклокочена и казалась нечесаной. — Водосвятие прошло очень мило, — сказал он и из-за пенсне подмигнул мне. Прощаясь, он пригласил меня на железнодорожную елку.

Расставшись с ним, мы впятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с двумя башнями. Узенькие, они издали походили на свечки. — Говорят, это бывший костел, — рассказала Софи Самоквасова. Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали. Я разговаривал с Сержем, хихикая. Мимо, с солдатом на козлах, промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и Серж научил меня песенке:

Мадам Фу-фу —
Голова в пуху.
Одета по моде.
А голова-то в комод.

Отец в этот день был в уезде. Маман за обедом молчала. Приятно задумавшись, она иногда улыбалась. — Дни стали заметно длиннее, — сказала она.

Прикатил человек от Кармановых. Мы расспросили его. Оказалось, что его зовут Людвиг Чаплинский и что он служит в депо. Он отвез меня. Серж с инженером меня дожидались.

На том же извозчике мы отправились в театр. Военный оркестр играл нам под управлением капельмейстера Шмидта. На елке горели разноцветные лампочки. Инженер сообщил нам, что они — электрические. Нам поднесли по игрушечной лошадке, и мы послали Чаплинского отнести их домой.

Серж бывал уже здесь. Он все знал. Он подвел меня к сцене и разъяснил, что картина на занавесе называется «Шильонский замок». — Послушай, — сказал он мне вдруг, — это я тогда соорудил тебе страшную рожу.

Потом он поклялся, что это не он был.

5

Кармановы перебрались в дом Янека и заняли квартиру в десять комнат. Самая большая называлась «зал». На масленице в нем предполагалось дать спектакль с настоящим занавесом из театра. По субботам приходили ученицы и ученики и репетировали. Я и Серж однажды посмотрели чуточку. Софи стояла на коленях перед Колей Либерманом и протягивала ему руки. — Александр, — говорила она трогательно, — о, прости меня.

Белугиных перевели в Митаву. Уезжая, они передали нам свою квартиру в доме Янека. Теперь мы могли видеться с Кармановыми каждый день. Они прислали нам Чаплинского — помочь при переезде. К огорчению маман, отец не принял его. Пшиборовский, упаковывающий вещи, посочувствовал ей.

Ангел, поднесенный мне Л. Кусман, не отклеивался, и пришлось его оставить. Очень жалко было. Я поцеловал его. К нам стали ходить гости, поздравлять нас с новосельем и дарить нам пироги и крендели. Маман явился ночью господин, который умер в этом доме. — Можете себе представить, — говорила она. По совету Александры Львовны Лей мы пригласили отца Федора. Он отслужил молебен. Александра Львовна Лей, инженерша с Сержем присутствовали. Желтый столик был накрыт салфеткой. На него была поставлена икона и вода в салатнике. Попев, как в церкви, отец Федор обошел все комнаты и окропил их. Мы сопровождали его. Был предложен кофе.

Каган, факторка, опять искала для нас няньку. Униатка нагубила, и маман отправила ее. Взволнованная, она в тот вечер не читала с инженершей Лейкиной, а разговаривала с ней о слугах. Забежала Александра Львовна Лей. — Находка, — закричала она, что-то разворачивая. Мы увидели картинку: Иисус Христос в венке с шипами. — Замечательно, — одобрили мы. — Дело в том, — сказала Александра Львовна, — что при выходе из дома она встретила портниху, панну Плэпис. Каждый раз, когда она ее увидит, происходит что-нибудь хорошее. Тут мы поговорили о счастливых встречах.

Масленица приближалась. Пробные блины пеклись уже. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зрительницей. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Они строили друг другу глазки и выделяли па.

Пойдем, пойдем, ангел милый, —

напевали они тоненько, —

— Польку танцевать со мной.

Слышишь, слышишь звуки польки,

Звуки польки неземной?

Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала

Маниловка и в ней — Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки.

Внезапно инженерша появилась в комнате для зрителей. — Софи, — сказала она, подходя к девицам, — там Иван Фомич. — Он сделал предложение. — Мне жаль было, что наше представление расстроилось. За окнами снег сыпался. Видна была труба торговой бани Сенченкова. Из нее шел дым.

Иван Фомич служил инспектором реального училища. Мы стали посещать училищную церковь. Впереди ученики стояли скромно. На середине бородатые учителя в мундирах с университетскими значками и прическах ежиком крестились. Возвращаясь, дамы лестно отзывались о них и хвалили их за набожность. Серж полюбил играть в «училище», а инженерша стала сообщать училищные новости. Так мы узнали об ученике шестого класса Васе Стрижкине. Во время физики он закурил сигару и с согласия родителей был высечен.

Зима кончилась. Полицмейстер Ломов уже сделал свой последний выезд на санях и отдал приказание убрать снег. Опять загрохотали дрожки. Наши матери говели и водили нас с собой. На потолке в соборе небо с облачками и со звездами. Мне нравилось рассматривать его.

Раз как-то инженерша с Сержем завернула к нам. Она услышала об очень выгодных конфетах — карамель «Мерси», имеющих в лавке Крюкова за дамбой. Мы отправились туда. Светило солнце. Из торговой бани выходили люди с красными физиономиями. Бабы с квасом останавливали их. Аптекарская лавка была тут же. Мыло и мочалки красовались в ней. Мы встретили ученика, который щелкнул меня по затылку на параде в Новый год. Он шел, посвистывая.

Карамель «Мерси» понравилась нам. На ее бумажках было две руки, которые здоровались. Она была велика, и в фунте ее было много. Пока Серж и дамы наблюдали за развешиванием, крюковская дочь отозвала меня в сторонку и дала мне пряничную женщину.

6

Уже просохло. Уже дворник сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже Л. Кусман выставила у себя в окне пасхальные открытки.

Раз после обеда я прогуливался по двору. Серж вышел. — Завтра мы поедем в крепость, — объявил он, — и вы с нами. — Оказалось, инженерша собралась туда молиться о покойном Самоквасове.

— Бом, — начали звонить в соборе. Мы перекрестились. Пфердхен подошел с свистком к окну и свистнул. Его дети побежали к дому. — Киндер, — покричали мы им вслед, — тэй тринкен, — и потом задумались, прислушиваясь к звону. Мы поговорили о тех глупостях, которые рассказывают про больших. Мы сомневались, чтобы господа и барыни проделывали это. Завернул шарманщик, и веселенькая музыка закувыркалась в воздухе. Она расшевелила нас. — Пойдем к подвальным, — предложил мне Серж.

Мы ошупью спустились и, ведя рукой по стенке, отыскивали дверь. У подвальных воняло нищими. У них на окнах в жестяных коробочках цвела герань. В углу с картинками, как в скринке у Цецилии, улыбался, с узенькими плечиками, папа Лев. Подвальные проснулись и смотрели на нас с лавки. — Ваши дети не дают проходу, — как всегда, пожаловались мы. — Мы им покажем, — как всегда, сказали нам подвальные.

Серж, инженерша и Софи зашли за нами утром. Мы послали Пшиборовского за дрожками. Он усадил нас и, любуясь нами, кланялся вслед.

Денек был серенький. Колокола звонили. Приодевшиися немки под руку с мужьями торопились в кирху, и у них подмышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали. Загремев, мы поскакали по булыжникам. Потом пролетка поднялась на дамбу и загрохотала тише. С высоты нам было видно, как из вытасненных во дворы матрацев

выколачивали пыль. Река текла широко. — Пробуждается природа, — говорила поэтически Софи, и дамы соглашались.

Показалась крепость. Над ее деревьями кричали галки. По валам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой видны были окошечки с решетками. Мы всматривались в них — не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса переставали громыхать. Внезапно стало тихо, и копыта шелкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам.

Сойдя с извозчика, мы постояли среди площади и подивились красоте собора. Перед ним был скверик, огороженный цепями. Эти цепи прикреплялись к небольшому поставленному вверх дулом пушечкам и свшивались между ними.

На скамейке я увидел новогоднего ученика (того, что меня щелкнул). Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками. Софи хихикнула. — Вот Вася Стрижин, — показала она. — Вася, — шепотом сказал я. Он взглянул на нас. Я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел пятак.

На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я отдал свой пятак, и вместе с панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф. — Ай, цвай, драй, — сказал снаружи Янкель. Я увидел все, о чем был так наслышан, — и «Изгнание из рая» и «Семейство Александра III». Вокруг стояли люди и завидовали мне.

В субботу перед пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне евангелие. «Любимый ученик» в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, пошвыстывающим и с вербочкой в руках.

Вечерний почтальон уже принес нам несколько открыток и визитных карточек. — «Пан христус з мартвэх вста, — писал нам Пшиборовский, — аелюя, аелюя, аелюя».

Я проснулся среди ночи, когда наши возвратились от заутрени. Мне разрешили встать. Торжественные, мы поели. Александра Львовна Лей участвовала.

Утро было солнечное, с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую нам неожиданно прислала мадамзель Горшкова. В окна прилетал трезвон. Гремя пролетками, подкатывали гости и, коля нас бородами, поздравляли нас. Маман сияла. — Закусите, — говорила она им. С руками за спиной, отец похаживал. — Пан христус з мартвэх вста, — довольный, напевал он. Отец Федор прикатил и, затянув молитву, окропил еду.

После обеда к нам пришли Кондратьевы с детьми. Андрей был мне ровесник. У него был белый бант с зелеными горошинами и прическа дыбом, как у Ницше и у Пшиборовского. Мне захотелось подружиться с ним, но верность Сержу удержала меня.

7

Я видел Янека. Цвели каштаны. Солнце было низко. В розовое и лиловое были окрашены барашковые облачка. В цилиндре, с седой бородкой треугольником, он шел, распоряжаясь. Управляющий Канторек провожал его. Я рассказал маман об этой встрече, и она задумалась. — Я никогда не видела его, — сказала она, а отец пожал плечами. Он не любил людей, которые были богаче нас. Он и с Кармановым, хотя маман и приставала постоянно, не знакомился.

Кондратьевы зашли проститься с нами и переселились в лагери. Они нас звали, и однажды утром мы, принарядясь, послали за извозчиком, уселись и отправились туда. Мы миновали баню, крюковскую лавку и галантерейную торговлю Тэкли Андрушкевич. У нее в окошечке висели свечи, привязанные за фитиль, и елочная ватная старушка с клюквой. Мостовая кончилась. Приятно стало. За плетнями огородники работали среди навоза. Жаворонки пели. Впереди нас виден лес, воинствен-

ная музыка лилась оттуда. — Это лагери, — сказала нам маман.

Барак Кондратьевых стоял у въезда. Золотой зеркальный шар блестел на столбике. Денщик Рахматулла стирал.

Кондратьева, вскочив с качалки, побежала к нам. Мы похвалили садик и взошли на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях. — «Как для кого!» — было написано химическим карандашом и смочено. — «Ого!» — «Так говорил, — прочла маман заглавие, — Заратустра». — Это муж читает и свои заметки делает, — сказала Кондратьева. Пришел Андрей и показал мне змея, на котором был наклеен Эдуард VII в шотландской юбочке.

Мы отправились побродить и осмотрели лагери. Нам встретился отец Андрея. Длинный, с маленьким лицом и узким туловищем, он сидел на дрожках и драпировался в брошенную на одно плечо шинель. — К больному в город, — крикнул он нам. Мы остановились, чтобы помехать ему. — Когда дерут солдат, то он присутствует, — сказал Андрей. Оркестр, приближаясь, играл марши. Не держась за руль, кадеты проносились на велосипедах. Разъездные кухни дребезжали и распространяли запахи шей.

Вдруг набежала тучка, брызнул дождь и застучал по лопухам. Мы переждали под грибом для часового. Я прочел афишу на столбе гриба: разнохарактерный дивертисмент, оркестр, водевиль «Денщик подвел». Я рассказал Андрею, как один раз был в театре, как на елке, разноцветное, горело электричество, и как на занавесе был изображен шильонский замок. Рассказал про дружбу с Сержем, про Манилова и Чичикова и про то, как до сих пор не знаю, кто был «Страшный мальчик» — Серж или не Серж.

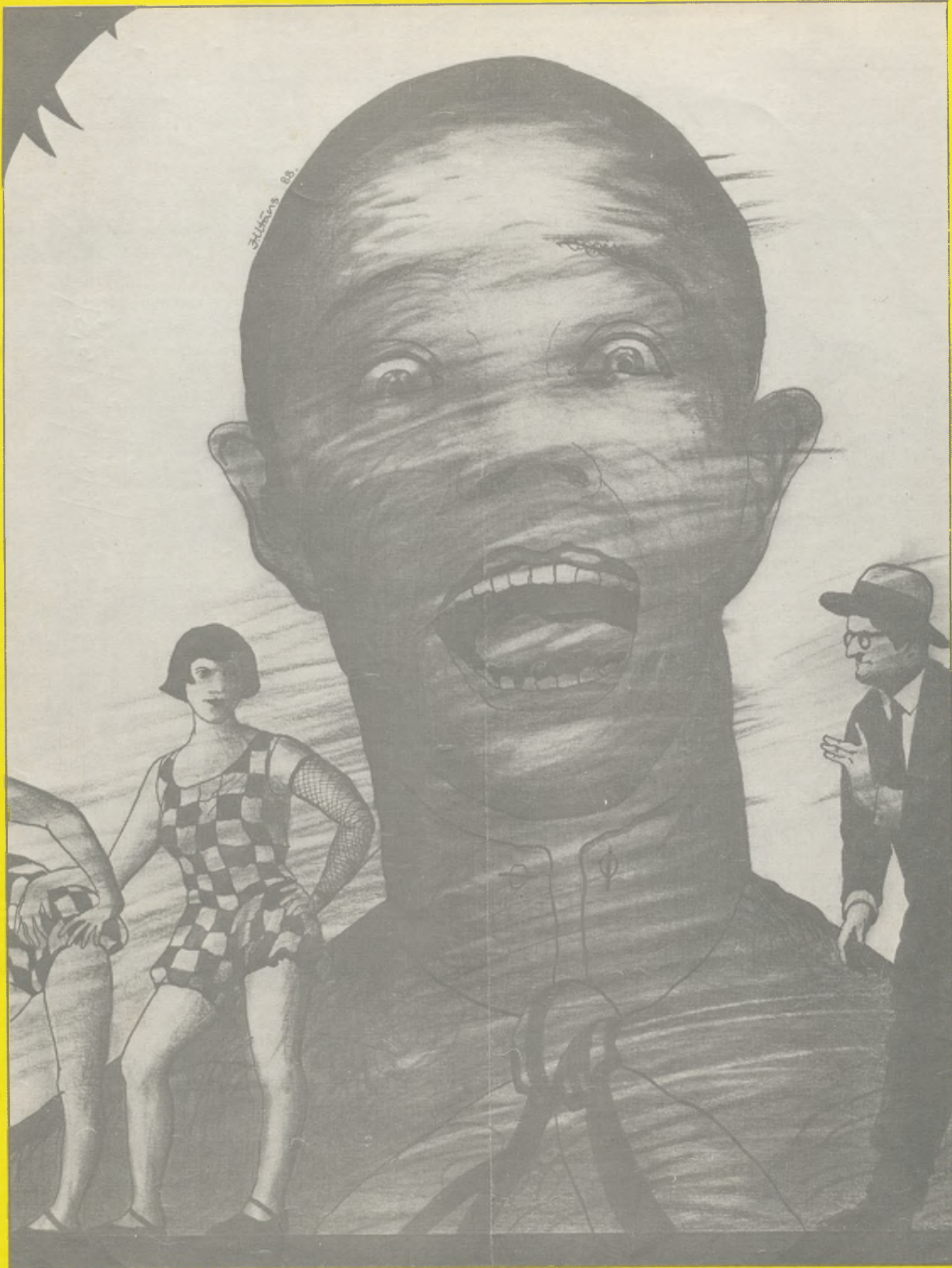
— И не узнаешь никогда, — сказал Андрей. — Да, — согласился я с ним, — да! — Так разговаривая, мы спустились на берег. Река была коричневая. Плот, скрипя веслом, плыл. За рекой распаханные невысокие холмы тянулись. Коля Либерман купался. Он стоял, суровый, подставляя себя солнцу, и я вспомнил, как Софи, коленапреклоненная, взирала на него. — О, Александр, — восклицала она, каюсь и ломаю руки, — о, прости меня. — Какой он толстомясый и какой косматый с головы до ног, она не видела. — Да, да, — ответил мне Андрей на это, — да! — Глубокомысленные, мы молчали. Марши раздавались сзади. Рыбы всплескивались иногда. С вальком и ворохом белья, как прачка, на мостки пришел Рахматулла.

Мне предстояло разлучиться с Сержем. С инженершей и с Софи он уезжал на лето в Самоквасово.

День их отъезда наступил. Я и маман явились на вокзал с конфетами. Иван Фомич, Чаплинский, инженер и Эльза Будрих провожали. Окруженную узлами, в стороне от путешественников мы увидели портниху панну Плепис. Она ехала с Кармановыми, чтобы шить приданое. Она стояла в красной шляпе, низенькая, и поглядывала. Инженер распорядился, чтобы нам открыли «императорские комнаты». — Здесь очень мило, — похвалил он, сев на золоченый стул. Нам принесли шампанское, и инженерша омрачилась. — Это уже лишнее, — сказала она. Все-таки мы выпили и крикнули «ура». Софи была довольна. — Как в романе, — облизнувшись и посоловав, сравнила она. Она окончила гимназию и уже оделась дамой. В юбке до земли, в корсете, в шляпе с перьями и в рукавах шарами, она стала неуклюжей и внушительной.

Возвращались мы расслабленные. — Все-таки, — откинувшись на спинку дрог и нежно улыбаясь, говорила мне маман, — она подкуповата. — Я дремал. Я думал о портнихе, панне Плепис, и о счастье, которое приносят Александре Львовне встречи с ней. Я вспомнил свои встречи с Васей, пятак, который нашел в крепости, и пряник, который мне подарила крюковская дочь.

(Продолжение следует)



ИЛЛЮСТРАЦИИ ЮРИСА УТАНСА

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ САРМИТЕ МАЛИНИ И СЕРГЕЯ ДАВИДОВА

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

